

О. И. ИЛЬИНСКАЯ В ВОСПОМИНАНИЯХ Г. М. ФРИДЛЕНДЕРА И ПИСЬМАХ К НЕМУ В КОМИ АССР (1942–1945 гг.)

*(Вступительная статья, подготовка текста
и комментарии С. В. Березкиной)*

Аннотация: Письма О. И. Ильинской (1911–1986) военных лет, отправленные Г. М. Фридендеру в лагерь на территории Коми АССР, представляют уникальный эпистолярный комплекс. Письма отличаются богатством интеллектуального содержания и высоким художественным уровнем.

Ключевые слова: биография О. И. Ильинской, биография академика Г. М. Фридендера, судьба марксистских идей в довоенное и военное время, культурное строительство в СССР в 1930–1940-е гг., Иркутск военного периода.

Abstract: The O. I. Il'inskaya's (1911–1986) letters of the war years sent to G. M. Fridlender to the camp on the territory of the Komi Republic, represent a unique epistolary complex. Letters are rich in intellectual content and high artistic level.

Keywords: biography of O. I. Il'inskaya, biography of academician G. M. Fridlender, fate of Marxist ideas in pre-war and war time, cultural construction in the USSR in the 1930s-1940s, Irkutsk of the war period.

В архиве академика Георгия Михайловича Фридендера (1915–1995), хранящемся в Рукописном отделе Пушкинского Дома, особое место занимают письма военных лет, полученные им в 1942–1945 гг. в поселке Жэшарт Усть-Вымского района Коми АССР. Здесь находился отдельный лагерный пункт (ОЛП) Севжелдорлага — исправительно-трудового лагеря, обслуживавшего Северо-Печорскую железную дорогу. Г. М. Фридендер был выслан в Коми АССР в 1942 г. как немец по национальности; история его высылки, жизни в лагере и на спецпоселении (в том же Жешарте) и, наконец, освобождения осенью 1945 г. освещена в публикации писем Г. М. Фридендера к матери, жившей во время войны в блокадном Ленинграде.¹ Из Жешарта он бережно вывез письма не только ее, но и своих друзей — Я. Л. Бабушкина, М. А. Лифшица, И. Е. Верцмана, С. А. Альтерман (Розановой), И. А. Саца, И. М.

¹ «Трудармеец Фридендер, Г. М.» (Письма из Коми АССР, 1942–1945) / Вступ. ст. С. В. Березкиной; подгот. текста и коммент. С. В. Березкиной и А. С. Лагурева // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2018–2019 годы. СПб., 2019. С. 443–505.

и Н. Я. Дьяконовых, Д. Д. Обломиевского и др.; всего около полутысячи писем, адресованных в Жешарт. Через эти письма для него, видевшего мир в кольце северной тайги, открывалась жизнь огромной страны — на фронте, в блокаде, эвакуации. Особенностью этих писем, адресованных «трудармейцу» немецкой рабочей колонны, был высокий интеллектуальный уровень. Письма призывали того, кто получал их, к жизни высокого полета духа (т. е. к осмыслению происходящего в мире в категориях философских, общественно-исторических, культурных), высоконравственной (терпеть, верить в победу добра, надеяться, любить тех, кто его помнит и ждет). Насколько нам известно, в эпистолярной, связанной с ГУЛАГом, еще не было представлено к публикации столь оригинального архива писем, парадоксально оптимистичного по своей сути. Но даже среди этого архива резко выделяются по богатству своего интеллектуального содержания письма О. И. Ильинской — на наш взгляд, уникальные эпистолярные документы из числа когда-либо адресованных за колючую проволоку. Поименованные в нашем вступлении люди были в тот момент, как и она, убежденными марксистами (из них членами ВКП(б) были не все, подобно О. И. Ильинской и Г. М. Фридлендеру, которые так и не вступили в партию). В этом смысле письма О. И. Ильинской имеют особый интерес, поскольку показывают уровень мировоззренческих доминант в представлении ею обстоятельств своей жизни. Впрочем, в письмах к Г. М. Фридлендеру она сумела раскрыть и свои сомнения мировоззренческого характера, передав их в изящных и пластичных образах и рассуждениях, оказавшихся недостижимыми для военных цензоров, которые их читали.

Ольга Игоревна Ильинская (1911–1986) была сокурсницей Г. М. Фридлендера по филологическому факультету ЛГУ, куда она поступила в 1934 г.; вместе они и закончили университет в 1937 г. Прежде чем оказаться в университете, Ильинская два года проучилась в Москве на Высших государственных литературных курсах, откуда ушла после их закрытия в 1929 г. Ляля оставила неизгладимое впечатление у тех, кто видел ее в университете. Это была изящная, эффектная молодая женщина, выделявшаяся, как вспоминала Л. М. Лотман, особым шармом.² Фридлендер свое первое впечатление от встречи с ней передал словами «бесконечное обаяние» (с. 494).³ Во всем ее облике чувствовалась «голубая кровь». По мнению Г. Е. Тамарченко, также ее

² Лотман Л. М. Г. М. Фридлендер в моей памяти сквозь долгие годы общения и сотрудничества // Достоевский: Материалы и исследования. СПб., 2007. Т. 18. С. 449–450.

³ Страницы в скобках здесь и далее отсылают к настоящей публикации писем. Цитаты без указания страниц в скобках как во вступительной статье, так и в примечаниях, относятся к письмам, не вошедшим в настоящую публикацию; эти цитаты не имеют и ссылок на хранение рукописи, поскольку фонд Г. М. Фридлендера находится в обработке.

однокурсника, она была «существом другого круга», в котором «господствовали полуаристократические-полубогемные привычки»: это была «русская женщина с французскими пристрастиями».⁴ Впрочем, мать ее Софья Григорьевна Ильинская (ум. 1960) происходила из московской купеческой семьи и в первом браке была за профессором Московского университета Н. И. Курсановым (1874—1921), выходцем из зажиточной крестьянской семьи. Фридлендера же, судя по его воспоминаниям о Ляле (с. 495—496), завораживала ее родословная со стороны отца Игоря Владимировича Ильинского (1880—1937), в которой фигурировали фамилии Бакуниных и Тургеневых. Вся эта богатая воспоминаниями о славных страницах русской культуры линия шла через бабушку Ляли Софью Александровну Ильинскую (1855—1931), урожд. Свечину, сёстры которой, выходя замуж, селились в старых «дворянских гнездах» Тульской губернии. Одна из них, Варвара Александровна, стала женой Павла Ивановича Левицкого (1842—1920), владельца знаменитого имения Алексеевское: вся Россия читала его работы на сельскохозяйственные темы об этом имении на протяжении нескольких десятилетий. В Алексеевском бывал Л. Н. Толстой, знавший Левицкого. Другая сестра, Нина Александровна Арсеньева (1847—1900), жившая в имении Ивановское, через свою дочь и племянницу породнилась с Бакуниными и Тургеневыми. Именно этот круг родственников со стороны матери И. В. Ильинского, через его сестер, от родных до троюродных, связывал Лялю с семьями Г. В. Вернадского, С. М. Соловьева, Андрея Белого и др.

И. В. Ильинский называл себя человеком «политическим, сидящим при всех режимах»:⁵ юрист по образованию, он подвергался арестам еще при царском правительстве. В дореволюционное время присяжный поверенный, затем уполномоченный Всероссийского земского союза; после 1917 г. его занятия стали более разнообразными: библиограф библиотеки Румянцевского музея, адвокат, чья деятельность привлекла к нему внимание ГПУ, зав. отделом (лектор) Главземхоза, в 1926—1929 гг. заместитель хранителя музея-усадьбы Ясная Поляна (Ильинский был автором интересных воспоминаний о Толстом), ученый секретарь Государственного литературного музея. После 1917 г. Ильинский арестовывался несколько раз: в 1922 г., затем ссылка, арест в 1924-м, Соловецкий лагерь, в 1925-м вновь Бутырская тюрьма, новый арест в 1935-м с освобождением в тот же год, затем арест в Туле в 1937-м и расстрел «за антисоветскую агитацию».

С дореволюционного времени Ильинский был не чужд литературных занятий. Он сотрудничал в московском журнале «Крестьянское дело», выпускавшемся в 1909—1911 гг. В. П. Дроздовым (1878—1930),

⁴ Тамарченко Г. Е. Судьба одного семейства: (На крутых поворотах советской истории): Воспоминания. Киев, 2001. С. 59, 60.

⁵ Голицын К. Н., кн. Записки. М., 1997. С. 233.

где печатал рассказы, очерки, статьи (главным образом, об ужасах крепостничества и юридическом бесправии крестьян).⁶ Ильинский, хорошо знавший польский язык, участвовал в работе русско-польской секции Общества славянской культуры и поддерживал связи с видными представителями польского движения. В целом, он принадлежал к тому поколению русской интеллигенции, которое не сомневалось в том, что старый мир «прогнил» насквозь. В. И. Вернадский считал Ильинского, брата своей невестки, лояльным советской власти человеком («вне политики»), хотя ему было известно, что его преследуют как автора остросатирической поэмы о Карле Марксе, прибывшем в Советскую Россию.⁷ Текст поэмы (в мемуарах приводятся различные ее названия) не сохранился, написана она была, по-видимому, в 1920 г. Самое полное свидетельство о ней принадлежит кн. К. Н. Голицыну (1903—1990), который сидел с Ильинским в Бутырской тюрьме: «...он читал ее то в одном, то в другом московском доме. Слушателей собиралось много, и слушали затаив дыхание. <...> в поэме под острым сатирическим углом отражались самые злободневные вопросы и общественной, и частной жизни. <...> Разруха, битком набитые поезда, жизнь без самого привычного и необходимого, голод, болезни, бесправие — все было отражено в тринадцати “песнях” поэмы. Каких только персонажей не было в ней! И представители власти, и крестьяне, и городские жители, и помещики, лишившиеся поместий...» О сюжете ее Голицын сообщал: «Маркс воскрес. Прослышав о том, что далеко на Востоке нашлись люди, пожелавшие идти по намеченному им пути, он без колебаний принимает решение: ехать туда, в эту сказочную, счастливую страну. Злоключения Маркса в ходе этого путешествия и составляли основное содержание “Марксиады”». Мемуарист считал поэму «действительно талантливым произведением», дающим «довольно полное представление о времени так называемого “военного коммунизма”».⁸

На Лялю Ильинскую личность отца оказала огромное воздействие. Именно он принял решение о том, что Ляля не будет поступать в советскую школу, а получит образование в маленькой частной школе для девочек (таковые в 1920-х гг. были еще разрешены). В записках кн. С. М. Голицына (1909—1989) сохранилось воспоминание о том, каким звонким голосом хорошенькая Ляля, подруга одной из его сестер, читала в то время политические стихи своего сочинения на злобу дня.⁹ Когда отец был в тюрьме и ссылке, Ляля жила в подмосковном

⁶ Рукописи статей различных авторов для этого журнала см. в фонде И. В. Ильинского в РГАЛИ (ф. 223).

⁷ Вернадский В. И. Дневники, 1935—1941: В 2 кн. М., 2006. Кн. 1. С. 245.

⁸ Голицын К. Н., кн. Записки. С. 234—235, 236—237. О поэме см. также: Толстая А. Л. Дочь. М., 1992. С. 102.

⁹ Голицын С. М. Записки уцелевшего: Роман в жанре семейной хроники. М., 2016. С. 287.

Дмитрове с тетей Кисой (Е. В. Ильинской), сестрой жены Г. В. Вернадского (Катю Ильинскую очень любил В. И. Вернадский: он помогал ей деньгами, с 1940 г. она жила в его семье).¹⁰ Рассказ Фридлендера о «старинных заброшенных церквах» периода ранней юности Ляли и «родственников» рядом с ней самых громких фамилий, скорее всего, относился не к Дмитрову, а к селу Глинково близ Сергиева Посада (Загорска), где в 1920-х гг. летом собирались «бывшие» дворянские семьи (и среди них Ильинские).¹¹ После освобождения отца Ляля какое-то время жила в Ясной Поляне, ставшей для нее горячо любимым местом. Драматические страницы немецкой оккупации Ясной Поляны 1941 г. Ильинская пережила как глубоко личные. Она узнавала о них не только из газет, но и из писем сотрудницы яснополянского музея В. В. Ионочкиной (отзвуки сообщенных в них известий содержатся в письмах Ильинской к Фридлендеру в Архангельск начала 1942 г.).

«Исчезновение» отца в 1937 г. стало для Ильинской огромной трагедией. В письмах к Фридлендеру (в 1937 г. у него тоже «исчез» брат Андрей, о расстреле которого в 1938 г. он ничего не знал)¹² Ляля упоминает о том, что перенести это горе ей помог именно Юра (так звали в родственно-дружеском кругу Г. М. Фридлендера). Упоминается в связи с репрессиями 1937–1938 гг. и еще одно имя — Михаила Александровича Лифшица (1905–1983), философа-марксиста и теоретика искусства, с которым Г. М. Фридлендер был связан тесными дружескими и творческими узами с 1935 г. Он оказал огромное воздействие на весь студенческий кружок, в который входили Фридлендер и Ильинская. В архиве Фридлендера сохранилось начало автобиографической повести «Гога» конца 1930-х гг. В ней он рассказывал и о своей семье, живущей в атмосфере неприятия советского строя, и о том, как чтение Маркса (а Фридлендер превосходно знал немецкий язык) перевернуло его мировоззрение, открыв широчайшие перспективы приятия и познания действительности. Выработка марксистского мировоззрения выросла из насущной потребности студенческой жизни Фридлендера и его друзей, возмущенных заполонившей университетские аудитории вульгарной социологией: это была редукция искусства и гуманитарной мысли вообще, якобы на основе прочтения Маркса, исключительно к экономическим отношениям различных эпох и проявлениям классовой борьбы. Не приемля это обесценивание вечного в искусстве, Фридлендер начал писать свой марксистский «трактат» (надпись на тетрадке в его архиве), который в 1935 г. послал в Москву Лифшицу, известному своими яркими работами о литературе и искусстве (см. с. 499, примеч. 15). Лифшиц, заинтересовавшийся личностью столь эрудированного и самостоятельно мыслящего студента, завязал знакомство с ним, а через него и с друзьями Фридлендера по университету.

¹⁰ *Вернадский В. И. Дневники, 1935–1941. Кн. 1. С. 63.*

¹¹ *Голицын С. М. Записки уцелевшего. С. 291–296, 339–341 и след.*

¹² См.: «Трудармеец Фридлендер, Г. М.». С. 446–447.

Г. Е. Тамарченко вспоминал впоследствии, что в этом студенческом кружке главной фигурой был Юра Фридлендер.¹³ Изучая Маркса и его воззрения на литературу и искусство, Фридлендер излагал свои открытия друзьям, и они знакомились с научно-философскими идеями, увлекавшими их своей новизной и широкими жизненными горизонтами. В своих письмах Ильинская неоднократно напоминала ему об этом: «Неужели ты думаешь, что есть на свете обстоятельства, которые могли бы поколебать нашу дружбу и мою веру в тебя, в тебя, который сделал из декадентской барышни, кандидатки в Эммы Бовари, сознательно советского человека? Ты даже не знаешь, сколько ты сделал для моего внутреннего “я”, для моего развития. Ведь если бы не ты <...> я, вероятно, растранижилась бы в любовных похождениях низкого пошиба...» (6 сент. 1942 г., с. 503); «...ты в духовном смысле создал Яшку <...> и помог вырасти Шуре.¹⁴ Можешь помянуть и меня, хотя это и не столь большая заслуга — испечь такую меня. Все эти твои друзья, которые стольким тебе обязаны, — доказательство того, насколько реальны и жизненны были твои мысли» (19 авг. 1942 г., с. 501–502).

27 сент. 1941 г. Ильинская писала Фридлендеру в Архангельск: «Всегда, во все тяжелые минуты жизни <...> я спасалась мыслью, что есть на свете вы, мои хорошие, благородные, умные мальчишки». Высказывания Ильинской приобретут особый вес, если сравнить эту компанию студентов-интеллектуалов с тем узкосословным кружком молодых дворян-москвичей, к которому принадлежала Ильинская в 1920-е гг. и который описали в своих воспоминаниях С. М. Голицын и С. П. Раевский.¹⁵ В отличие от них, в семействе Ляли Ильинской не было ни монархистов, ни церковников, поэтому молодые марксисты-ленинградцы, самостоятельно пробивавшие себе дорогу в новый философский мир, произвели на нее большое впечатление. Их поиски «истинного марксизма» отвечали идее поэмы о Карле Марксе отца Ильинской, который, конечно же, был знаком с какими-то из его трудов. По воспоминаниям К. Н. Голицына, И. В. Ильинский ненавидел Ленина, но возлагал большие надежды на Сталина, находя в его деятельности «некие положительные сдвиги во внутренней политике: от разрушения и ломки — к созиданию».¹⁶ И атеизм как убеждение Ляли и ее родителей,¹⁷ и отрицание монархической идеи, и пафос строительства нового

¹³ Тамарченко Г. Е. Судьба одного семейства. С. 65–82. См. также: Дьяков И. М. Книга воспоминаний. СПб., 1995. С. 532; Дьяконова Н. Я. Мои воспоминания // Достоевский: Материалы и исследования. СПб., 2007. Т. 18. С. 437–438.

¹⁴ Имеются в виду Я. Л. Бабушкин и А. Г. Выгодский (см. о них далее).

¹⁵ См.: Голицын С. М. Записки уцелевшего. С. 286–296, 391–393 и след., Раевский С. П. Пять веков Раевских. М., 2005. С. 323–325.

¹⁶ Голицын К. Н., кн. Записки. С. 242.

¹⁷ В воспоминаниях Н. Коржавина говорится о том, что анализ историко-литературного материала на лекциях Ильинской носил религиозный характер (то же самое можно сказать и о сходных темах в ее письмах к Фридлендеру), поскольку

мира, который должен был прийти на смену старого, — всё это способствовало сближению ее с кружком молодых марксистов.

Впоследствии Ильинская назвала то увлечение марксизмом «нашим юношеским “романтическим” периодом»: «Конечно, во всем этом, особенно до окончания института, было немного Лапуты, такая отдаленность от эмпирии, высота птичьего полета (и жизнь нас поправила, и Мих<аил> Ал<ександрович> тоже со своей “резиночкой” — впрочем, его поправка тоже была “с высоты птичьего полета”), но суть остается, и ты имеешь законное право гордиться и той твоей работой об искусстве» (19 авг. 1942 г., с. 501). Лапута — это летающий остров из третьей части «Путешествия Гулливера» Дж. Свифта, населенный презирающими реальность учеными (принц Лапутянский, Лапутянин — так Ильинская именovala в своих письмах Фридендера). Упоминаемая Ильинской «резиночка» Лифшица была связана с проблемами сталинского режима конца 1930-х гг., которые он относил к проявлениям «вульгарной демократии».¹⁸ По мнению А. Д. Майданского, «в размышлениях над историей Страны Советов Лифшиц демонстрирует резиночку почти евангельской глубины. <...> Девизом своего толкования истории революции Лифшиц избрал слова Пушкина: “Понять необходимость и простить оной в душе своей”.¹⁹ <...> Он был готов понять и простить своей матери-революции буквально все, включая кровь, ложь и ужасы сталинизма. Этот путь революции не был ошибкой, уверяет он. Альтернативы, по сути, не было».²⁰ Лифшиц позднее утверждал: «Есть глубокое основание, не ошибка какая-нибудь, не просто замысел злодейский чей-нибудь в этом, а тяжкий противоречивый ход истории, сознание отсутствия альтернативы»; в другой записи: «Дальнейший подъем страны мог совершаться только ужасным, иррациональным, варварским путем, в котором переплетались черты великого энтузиазма и темной энергии».²¹ Ильинская, несомненно, была знакома с письмом Лифшица к Фридендеру о Пушкине 1938 г., в котором рассматривалась проблема «гуманной рези-

Ильинская всегда исходила из вечных ценностей, — утверждая при этом, что является атеисткой (Коржавин Н. В соблазнах кровавой эпохи: Воспоминания: В 2 кн. М., 2007. Кн. 2. С. 331). Ильинская много знала о христианстве, в частности благодаря кругу своего общения в 1920-е гг., но ее интерес к нему носил эстетический, общекультурный характер. Впрочем, убеждения Ильинской последних лет жизни из-за исчезновения ее архива (см. об этом ниже) нам неизвестны.

¹⁸ Об отражениях в довоенных работах Лифшица проблематики сталинизма — с отсылкой к высказываниям Маркса о «вульгарной демократии» — см.: Арсланов В. Г. Проблема «термидора» 30-х годов и рождение «теории тождеств» // Михаил Александрович Лифшиц: [Сб. ст.]. М., 2010. С. 338—366.

¹⁹ Видоизмененная цитата из записки Пушкина «О народном воспитании» (1826), где эти слова обращены к родным декабристов.

²⁰ Майданский А. Д. Консервативная революция: Лифшиц на уроках Гегеля // Свободная мысль. 2015. № 3. С. 215.

²¹ Лифшиц М. А. Очерки русской культуры: Из неизданного. М., 1995. С. 234.

няции»: «Чем независимее от наших претензий становится действительность, чем более разум становится ее *естественным* элементом, тем свободнее мы сами внутренне — в философском и художественном смысле».²²

В военные годы Ильинская вспоминала об энтузиазме их студенческих лет как о каком-то важном этапе истории, совпавшем «с молодостью и зрелостью целого нового мира» (3—6 марта 1942 г.): «Несмотря на все трудности, мы были счастливым поколением, любимчиками истории. У мальчиков и девочек из разделенных школ не будет и наших солнечных вершин» (6 сент. 1943 г., с. 529). Ильинская сумела оценить марксистскую закалку, полученную ею в общении с Фридлиндером, когда в эвакуации стала преподавателем зарубежной литературы в двух иркутских вузах — пединституте и университете. Молодые теоретики марксизма были воодушевлены идеей художественного воспитания народа на том базисе социализма, который, как утверждала советская пропаганда, был уже возведен в процессе коллективизации и начавшейся индустриализации. В этой воспитательной работе искусству и литературе отводилась более важная и самостоятельная роль, чем это представлялось прежде (в домарксистский период). Умевшая ценить то эстетическое наслаждение, которое дает ощущение вечности в литературном произведении (а эта любовь к искусству была в высшей степени присуща Фридлиндеру и его друзьям), Ильинская оказалась вооруженной и инструментарием для анализа социально-исторической действительности. Именно в иркутских вузах начинает формироваться уникальная преподавательская манера Ильинской, о которой сохранились свидетельства ее учеников, как в Иркутске, так и, впоследствии, в Москве. Письма к Фридлиндеру содержат изложение педагогических идей, которые Ильинская ставила во главу угла своих вузовских курсов, причем эти идеи и были той сияющей сердцевиной, которую она усматривала в устремленности марксизма в будущее человечества, но с поправкой на прирожденность ей, как представительнице потомственной русской интеллигенции, веры в нужность служения народу.

Свое педагогическое призвание Ильинская осознавала в себе как всепоглощающий интерес к людям. 12 дек. 1941 г. Ильинская писала Фридлиндеру: «...радостно видеть этих жадных до учения ребят, очень хороших, молодых. И радостно, что я, декадентская мадамочка, могу дать им то, что выстрадала и над чем думала в печальные ночи после папиного исчезновения. <...> Когда говорю с ними, чувствую себя полной, как закупоренная пивная бочка. <...> Им ужасно хочется объединить свою науку с жизнью общей и своей, а этому их не учат». Ильинской претило академическое бесстрастие, поскольку ее идеалом было

²² Лифшиц М. А. Почему я не модернист? Философия. Эстетика. Художественная критика. М., 2009. С. 463.

просветительство: «...теперь-то я уж знаю, что наше литературное дело — нужное дело. Еще нужней <...> хорошие школы и университеты. Не просто грамотность, но моральная грамотность, минимальная человечность. Надо лечить людей от варварства, от дикарской и кулацкой бесчеловечности» (18 апр. 1942 г.). Эта сердечная устремленность молодой преподавательницы, имевшей к тому же изумительный дар рассказчицы (об этом вспоминали многие мемуаристы), делали Ильинскую исключительно популярной среди студенчества: «Проф. Лурье,²³ — писала она 1 июня 1942 г., — сказал мне, что он никогда еще не видел, чтобы кто-нибудь пользовался таким успехом у студентов, как я. <...> Я очень твердо знаю, что в этом году я была полезна советскому государству, что я тоже, как могла, воевала с фашизмом.²⁴ <...> главной целью моих лекций была не литература, а жизнь. Я всё время добивалась, чтобы студенты поняли, что жить интересно и ответственно».

Чтение историко-литературных курсов и общение со студентами (в добавление к трудностям военного времени) стимулировали внутреннюю работу Ильинской, которая во многом начинает сомневаться: «Смысл моей педагогической деятельности заключался для меня в том, что я, казалось мне, учу их думать, “беспокою” их, заставляю их душу вкладывать в литературу. Но сейчас во многом из того, во что я верила (в литературе), я изверилась, многое требует (по времени) капитальных поправок <...> мне часто теперь приходится в лекциях говорить о том, что никак не связано с “душой” моих ребят и с их печалями и радостями, говорить устаревшее и явно сейчас фальшивое» (27 нояб. 1943 г., с. 531). В этом письме Ильинская намеками, осторожно указывает Фридлендеру на популярную цитату из «Анти-Дюринга» Ф. Энгельса о «царстве свободы» и возмущается революционным пафосом недавних довоенных статей. Ей теперь «стыдно» учить и говорить о красоте, когда в мире не осталось «ни на йоту душевного комфорта, необходимого для того, чтобы утешаться где-то в стороне и испытывать наслаждение».

Методы работы Ильинской с иркутскими студентами оставались, тем не менее, по-молодому новаторскими. В. П. Трушкин, будущий профессор Иркутского университета (см. с. 514), записал в дневнике 20 янв. 1943 г. об экзамене по западноевропейской литературе:

²³ Лурье Соломон Яковлевич (1891—1964) — филолог-эллинист, профессор ЛГУ, в эвакуации работавший в ИГУ. Ильинская была с Лурье в большой дружбе, называя его «остроумнейшим еврейским Кола Брюньоном» (14 июля 1942 г.). Из Иркутска он уехал в 1943 г., возможно, из-за травли, о которой есть упоминание в студенческом дневнике В. П. Трушкина (*Трушкин В. П. Друзья мои... Дневники. Очерки. Статьи. Автографы и воспоминания друзей.* Иркутск, 2001. С. 135).

²⁴ «...тот, кто прочувствовал белую и красную розу на могилах Тристана и Изольды, никогда не примирится с гитлеровскими случайными пунктами. Поэтому я стараюсь выжимать слезу у своих студентов» (3 нояб. 1941 г.).

«О. И. Ильинская не столько была моим экзаменатором, сколько дружелюбным собеседником. Мы были вдвоем, курили, иногда даже спорили. Она мне дала три преогромнейших вопроса: Шекспир, Данте и Мольер. Поэтому естественно, говоря об этих трех гигантах, мы пробежали по всей литературе от древних до Пушкина и Байрона включительно. Мы побеседовали с ней целых пять часов».²⁵ Об этих разговорах с Васей Трушкиным Ильинская неоднократно писала Фридлендеру, считая, что в его развитии есть и ее заслуга: «Я разговариваю с ним часами» (22 нояб. 1942 г., с. 513).

Новым для Ильинской направлением была и организация литературного кружка для мальчиков 8—9 классов: «...я всю стараюсь вырвать их из мещанской провинциальной ограниченности, сделать их всемирно-историческими мальчишками, мыслящими человечками, а не хозяйчиками и ненавистниками рода людского, как здесь принято. <...> Такая тонкая штука — человек, и прикасаться к нему, особенно в юности, надо осторожно, чтобы он не чувствовал опеки и презрительного руководства. Пока мы друзья и равные» (13 окт. 1942 г., с. 508). Внеаудиторная работа — организация диспутов и кружков для студентов, занятия со старшеклассниками — имела в глазах Ильинской важное значение: «...в этих кружках они учатся коллективизму, они учатся духу общности, который у них отсутствовал (одни формальности, вместо реального интереса к миру, к стране, друг к другу)» (31 янв. 1943 г., с. 518).

Летом 1944 г. Ильинская вернулась в Москву. Здесь ее ожидала преподавательская работа сначала в Московском областном пединституте им. Н. К. Крупской (ныне Московский государственный областной университет), а затем и в киноинституте (ныне ВГИК), который она особо любила и где проработала сорок лет. В Москве Ильинская размышляла о том преподавательском опыте, который был получен ею в трудных условиях сибирского города, теперь уже приглядываясь и к известным московским профессорам. Она считала главным своим качеством «всемирное благожелательство» и «стихийное любопытство ко всему шару земному» (26 нояб. 1945 г.). Ее выводы о своей просветительской миссии и своей личной судьбе всегда оказывались неразрывны, поскольку она стремилась в разговоре со студентами о литературе быть предельно честной: всё «зависит от полноты и цельности каждой данной минуты бытия, от реальных, уловимых на ощупь связей с будущими поколениями» (23 янв. 1944 г., с. 534). Наполненная этим чувством связанности с миром, Ильинская бросается убеждать своего друга в важности высоких идеалов просветительства в тот момент, когда, под грузом пережитого, Фридлендер написал ей о простом счастье, уюте и комфорте как своей единственной жизненной цели: «Я тоже, может быть, еще больше, чем ты, люблю “клеящие листочки”

²⁵ Трушкин В. П. Друзья мои... С. 136.

и глупых птиц, но я лишусь этой любви, если я не буду жить только ради чего-то “более высокого, чем прожиточный минимум”. Я не знаю, наука это или история, я знаю, что это люди. <...> Это люди, с которыми я встречалась в иркутских вузах, в киноинституте, в МОПИ, люди, имена которых я забуду, и лица забуду, но они — главное содержание моей жизни, и оттого, что я люблю их, я и люблю “клеящие листочки”, леса, горы, море, зверей, весь прекрасный, милый, богатый мир, который изуродован в этих людях. <...> Если я не буду иметь возможность говорить с ними в аудитории, я буду писать рассказы; если нельзя будет писать рассказы, я буду писать статьи; а если мне совсем нельзя будет жить среди них и для них, если мне станет всё равно, чем бы ни закончится, и у меня ничего не останется, кроме “дома”, пусть самого уютного, <...> то этот “дом” станет для меня казнь и тюрьмой. Очень по-эренбургски звучит: “Я ненавижу разговоры о литературе и люблю шашлык”,²⁶ очень по-западному современно, так изящно-нигилистично. Ты ли это? А я люблю и разговоры о литературе, и шашлык, а пуще всего умных, добрых и гордых людей, которые не продают свою душу за клопное благополучие в теплом углу» (17 марта 1946 г.).

12 февр. 1948 г. Ильинская написала Фридендеру по поводу одного известного московского профессора: «Скептические тирады он проносит с наслаждением, с радостью. Вот и вся его радость. Я не уважаю таких людей. Если жить незачем — умирай. Кто тебя держит? Все эти виды нигилизма я воспринимаю как концентрированное свинство. Когда NN грядет, волоча ноги, черный, как еврейские похороны, то первый импульс у меня повернуться и идти в другую сторону. Какое право он имеет плевать на человеков, на себя, на жизнь? Их породили люди, люди их сделали веками своего труда, чтобы они продолжали жизнь, строили, умножали, а они ренегатствуют. Поприжала жизнь — они бегут, они сдаются и за себя, и за весь мир. Кто им сказал, что они свободны, что они имеют право отрекаться? Ведь они не сами по себе, они чужую ношу несут и должны донести». В том же письме Ильинская утверждала, что она увлекается «только людьми»: «Увлекаюсь бессмысленно, по-телячьи, влюбляюсь и в мальчиков и в девочек, и в тётей и в дядей, и в целые курсы. Вероятно, именно это — благожелательство и доверие — создают дружеские отношения между мной и студентами, особенно студентами ГИК’а (кино), которые свободней душевно, живут без скучных тормозов, не так, как печальные мои “педы”. Иногда мне кажется, тоже, наверное, по способности “ув-

²⁶ Ср. в романе И. Г. Эренбурга «Необычайные похождения Хулио Хуренито» (1921): «...надо напомнить о великом пренебрежении Учителя к роли искусства в современном обществе. Обедая с мистером Кулем, который под влиянием старого бургундского расчувствовался и заявил Хуренито, что больше всего на свете, даже больше долларов, любит красоту, Учитель чистосердечно ему признался: “А я предпочитаю эти свиные котлеты с горошком”» (*Эренбург И. Г. Собр. соч.: В 8 т. М., 1990. Т. 1. С. 276–277*).

лекаться», что наши отношения и есть идеальные человеческие отношения: свободный обмен друг другом, похожий на игру, без всякой внешней обязательности. <...> Быть может, это иллюзия, одно из проявлений тоски о «свободной человечности» в ренессансном духе, о доверии, о коллективной жизни по естественной потребности, а не по бюрократическому рецепту».

Такова «педагогическая поэма», запечатленная в письмах Ильинской к Фридлендеру. Ее дар педагога находил горячий отклик в сердцах студентов. Л. В. Черных вспоминала о годах учебы в Иркутском университете: «...объектом преклонения, нашим кумиром была О. И. Ильинская <...> после лекций мы следовали за ней табуном, провожая на вокзал...».²⁷ Не менее яркими были и впечатления вгиковцев, например, в воспоминании А. С. Плахова: «Ольга Игоревна Ильинская была легендой ВГИКа при жизни и осталась ею после жизни. Она всегда была красивой и молодой. Она не прерывала своих блистательных лекций и во время перемен, стоя с сигаретой на лестнице, всегда в окружении студентов. <...> Она не просто учила зарубежной литературе, но учила думать и интеллектуально развиваться, будучи одним из главных столпов вгиковской культуры и поднимая ее на уровень, до которого не всякий видный кинематографист мог дотянуться».²⁸

Параллельно с «педагогической поэмой», в письмах Ильинской раскрывается ее непростая личная жизнь. Показательно, что в воспоминаниях московских друзей упоминания о ней исчезают к моменту ее замужества в 1929 г., поскольку образ жизни Ильинской перестает соответствовать принятому в семьях «бывших» дворян. «Я как-то спросил ее, — писал С. П. Раевский. — “Зачем вы бравируете перед молодыми и даже пожилыми людьми, выпивая целиком стопку водки?” Ляля ответила: “Я люблю шокировать людей”».²⁹ В письме от 23 янв. 1944 г. к Фридлендеру она вспоминала свой «демонический период», когда сомневалась во всем, вплоть до необходимости «супружеской верности» и благоустроенного быта (с. 534). Первым ее мужем, с которым она прожила десять лет, был Гавриил Сергеевич Стрелин, в конце жизни член-корреспондент АМН СССР (см. с. 500). Второй раз она вышла замуж, по-видимому, в 1939 г. за Якова Львовича (Лейбовича) Бабушкина, ближайшего университетского друга Фридлендера. Его имя золотыми буквами вписано в историю Ленинграда: он сыграл важную роль в организации деятельности Дома радио в первую блокадную зиму. Переживания Ильинской за Ганю и за Яшу как-то слитно отразились в ее письмах военных лет, вмеща в себя и страх за их жизнь, и ревность, и желание вызвать в них (обоих!) горячее чувство

²⁷ Черных Л. В. Азадовский и студенты в Иркутске // Воспоминания о М. К. Азадовском. Иркутск, 1996. С. 91.

²⁸ СК-Новости. 2001. 13 июня. № 96. См. также: Коржавин Н. В соблазнах кровавой эпохи. Кн. 2. С. 331.

²⁹ Раевский С. П. Пять веков Раевских. С. 324.

к ней, Ляле. После того, как Яша погиб на фронте, в жизни Ильинской (в том же 1944-м!) вновь возник Ганя, с которым ее душа никак не могла расстаться; к тому же возвращение к нему сулило ей, в условиях безысходной нищеты,³⁰ прочное благополучие. И вот тут Юра Фридлендер, спецпоселенец с неясной перспективой будущего, отправляет Ляле в янв. 1945 г. письмо с предложением соединить их судьбы! В настоящую публикацию мы поместили лишь ответную «отповедь» Ильинской своему «другу и брату», однако после его освобождения эпизод имел продолжение: в декабре 1945 г. Ильинская написала Фридлендеру о своем желании приехать для встречи с ним в Ярославль, куда он, демобилизованный из «трудовой армии», был направлен осенью 1945 г. для работы в пединституте. Дважды она писала ему об этом, но он промолчал... Фридлендер к тому времени уже знал мнение о Ляле своей матери, которую глубоко почитал: «Она очень славная и развитая женщина, но <...> имеет определенный недостаток, который и послужил причиной тому, что и в первом браке и во втором у нее ничего хорошего не получилось. Конечно, она во многом виновата...» (30 нояб. 1944 г.); «Как жена, Ляля оказалась не на высоте <...> Бедный Яша был заброшен ею, так же и Ганя в свое время. В быту домашнем богема не годится...» (14 апр. 1945 г.).

В апр. 1946 г. Ильинская прислала Фридлендеру известие о том, что вышла замуж за Бориса Сергеевича Емельянова (1909—1991), театрального критика и театроведа. С ним Ильинская прожила в браке последние сорок лет своей жизни. Она предчувствовала, что Фридлендер не примет ее избранника. Станным был этот выбор: после серьезного, основательного Гани, окруженного учеными мужами, и пылкого, убежденного коммуниста и интернационалиста Яши — Борис, человек из другого, театрального мира, по словам Ильинской, «труляляшка: легкий человек, увлекающийся, разбрасывающийся, гурман в отношении к жизни, но добродушный и талантливый» (22 апр. 1946 г.). Новый брак не принес Ильинской материального благополучия, и она долго еще продолжала быть главным добытчиком в семье. Впоследствии Б. С. Емельянов работал в управлении театров Министерства культуры РСФСР, был ответственным редактором изданий Отдела распространения драматических произведений ВУОАП, заведовал репертуарной частью одного из московских театров.

Между тем, переписка Ильинской и Фридлендера начала терять свою интенсивность. С начала 1950-х гг. Фридлендер стал безотказным займодавцем Ильинской, а затем, многие годы, терпеливо ждал возвращения этих долгов. Научная жизнь ее была буквально задавлена огромными институтскими нагрузками и работой в гонорарных из-

³⁰ «...нужда самая дикая, экономия каждой корочки хлеба, мысли по ночам о том, на что купить днем картошку, чай без сахара и, главное, сознание, что мать днем ходит голодная» (12 дек. 1945 г.).

даниях. Она стала автором ряда статей в «Краткой литературной энциклопедии» и «Большой советской энциклопедии», писала комментарии к сочинениям Бальзака и Флобера, печатала статьи в изданиях «Искусство кино» (1956), «Шекспировский сборник» (1958), «Кино и литература» (1974) и др. М. К. Азадовский, находясь в Иркутске в эвакуации, предсказал в разговоре со студенткой, что Ильинская «никогда не напишет диссертацию, несмотря на свою эрудицию и творческие данные». ³¹ Не менее трех раз она меняла тему и защитила диссертацию лишь в 1962 г.: это были «Очерки по теории литературы с приложением примерных анализов композиции, стихов, стилистики, жанров и художественных методов» (полагаем, над этой странной формулировкой диссертационной темы многие ломали голову, стремясь помочь Ильинской в решении сложной для нее жизненной задачи). Из всего выпущенного Ильинской не потеряла своего значения, пожалуй, одна ее работа — перевод пьесы Эжена Ионеско (1909—1994) «Король умирает» (1962). Этот перевод (другого на русском языке так и не появилось) был напечатан в 1987 г. с предисловием Емельянова. «Крупинка соли, тающая в воде, не исчезает, она делает воду соленой», ³² — эти слова из пьесы Ионеско можно отнести к тому, что делала Ильинская в жизни, причем не только к прочитанным ею лекционным курсам, но и к письмам. И. Е. Верцман писал Фридендеру 7 июля 1943 г. с фронта: «Ляля, если б считала это оригинальным, написала бы вторую “Исповедь” в духе Руссо. Я очень люблю ее письма».

Письма Ильинской в лагерь Фридендеру — явление выдающееся. Представим себе лагерную действительность, в которой он жил: плохо приспособленный для проживания вагончик, в нем двенадцать «трудоармейцев» (и огромное количество клопов!), за окном вышки, колючая проволока, дремучий лес. Отсутствие газет, книг, радио... И вдруг письма Ильинской, насыщенные личными переживаниями и раздумьями о литературе, событиях в стране, в мире, и на всем этом отпечаток внутренней жизни человека высокоразвитого, интересного. Получение такого письма в лагере было подобно получению по почте книги.

Судьба архива Ильинской печальна. После смерти ее мужа Фридендер начал сразу же о нем тревожиться. Ему сообщили, что архивом будут заниматься В. Я. Бахмутский (1912—2004), профессор той же кафедры ВГИКа, где работала Ильинская, и еще один молодой кинокритик, ныне благополучно здравствующий. Фридендер сразу же сделал вывод: значит, архив погиб. Местонахождение архива Ольги Игоревны нам неизвестно, хотя тот небольшой фонд И. В. Ильинского, который хранится в РГАЛИ (ф. 223), восходит, по-видимому, именно к нему. В архиве Г. М. Фридендера сохранились письма О. И. Ильинской за 1939 — нач. 1980-х гг. Настоящая публикация представляет лишь ту их

³¹ Черных Л. В. Азадовский и студенты в Иркутске. С. 93.

³² Современная драматургия. 1987. № 4. С. 162.

часть, которая была послана Фридлендеру в лагерь и на спецпоселение. Письма Ильинской, выходящие за рамки 1942 (август) — 1945 гг., использованы во вступительной статье и комментариях. Письма печатаются по автографам без конкретизации шифра хранения, поскольку фонд Г. М. Фридлендера (РО ИРЛИ, ф. 929) находится в стадии обработки. На всех письмах стоит штамп военной цензуры. Орфография и пунктуация публикуемых писем приведены в соответствие с современными нормами, с сохранением ряда индивидуальных написаний. Открывают публикацию воспоминания Г. М. Фридлендера «Ляля Ильинская», написанные в 1995 г.

I. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Г. М. ФРИДЛЕНДЕРА

Ляля Ильинская

Первые полтора года в ЛИФЛИ¹ мне пришлось учиться на вечернем отделении (на дневное меня не приняли, хотя, по тогдашним правилам приема в высшие учебные заведения лиц инженерно-технического персонала, они были приравнены к детям из рабочих семей, то есть должны были приниматься в первую очередь; даже на вечернее отделение я был принят лишь после того, как на прием к представителю Министерства просвещения, который рассматривал жалобы, связанные с приемом, сходил мой отец.² Возможно, что главную роль, хотя мы в 1932 году этого еще не понимали, сыграла запись «немец» в моем паспорте.³

Но в конце января 1934 года вечернее отделение было закрыто; при этом на дневное передавали 5—7 человек, в том числе моих самых близких друзей Яшу Бабушкина и Анку Эмме.⁴ Меня же, как и других, не перевели. Яша был страшно этим возмущен. Он узнал адрес читавшего у нас русскую литературу профессора М. Яковлева,⁵ и мы втроем отправились к нему на квартиру. Жил он на Петроградской стороне, на углу Пионерской улицы и Гесперовского (ныне имени Чкалова) проспекта. Когда мы позвонили и нам открыли дверь, первый, кого мы увидели на пороге, был огромный дог. «Медалист», — промолвил с достоинством появившийся тут же Яковлев и пропустил нас в квартиру.

Анка и Яша, волнуясь и запинаясь, объяснили Яковлеву, что я лучший студент курса и что то, что я не был оставлен в университете, — несправедливо. Яковлев сразу же согласился с ними, так как хорошо меня помнил и давно считал меня самым одаренным студентом. Успокоив нас, он сказал, что поговорит с деканом факультета Аникиным⁶ и постарается добиться моего восстановления.

Через несколько дней на факультете мне сообщили, что я восстановлен и могу явиться на занятия дневного отделения, а также о том, что Аникин просил меня вечером к нему заехать, и дали его домашний адрес.

С бьющимся сердцем я отправился вечером к Аникину. Жил он на Фонтанке, неподалеку от цирка, в большой коммунальной квартире. На мой звонок он открыл мне дверь и провел в свою комнату. Комната эта, насколько я помню, была очень скудно, аскетически обставлена, и в ней горела одна лампа — на письменном столе, которая почему-то все время издавала какой-то треск, — очевидно, она была испорчена. Аникин сказал мне, что он, к сожалению, идет в кино, в «Сплendid-палас» (теперь «Родина»), на ближайший сеанс, но рад сказать мне, что ему удалось изыскать для меня место на дневном отделении. При этом он пояснил мне, что от должности декана его освободили и что я никогда больше его не увижу. На прощание он поцеловал меня и отпустил.

Я думал тогда, что Аникина удаляют из университета вместе с его ближайшим другом — горячо любимым студенчеством В. И. Бухаркиным⁷ (о котором в моих воспоминаниях нужно написать отдельно), но, как я узнал случайно в прошлом году (1994), причина его увольнения была не политическая — его обвинили в гомосексуализме (возможно, что это обвинение было вымышленным и фактически, как и Бухаркин, он был близок к тогдашней левой «зиновьевско-троцкистской» оппозиции).

На следующее утро я пришел в ЛИФЛИ на дневные занятия и узнал, что я зачислен не на русское, а на «западное» отделение (бывшее романо-германское). Насколько я помню, первую лекцию читал Александр Александрович Смирнов,⁸ которого я тогда видел и слышал в первый раз. Читал он курс всеобщей литературы, с большим знанием дела, но скучновато: видно было, что он каждый год уже в течение многих лет повторяет одни и те же лекции, которые успел затвердить наизусть.

В перерыве я вышел на лестничную площадку второго этажа и замер: на площадке стояла молодая женщина с удивительным лицом, удивительными серыми глазами и волосами. Ее нельзя было назвать красавицей, но вся ее фигура, как и лицо, излучали бесконечное обаяние. Она курила и смотрела куда-то вдаль, поверх окружающих стен и людей, не замечая их. На мои вопросы о ней мне ответили, что это студентка русского отделения нашего курса Ляля (Ольга Игоревна) Ильинская, москвичка по происхождению, которая, как и еще несколько студентов нашего курса, приехали <так!> в Петербург и поступили в ЛИФЛИ, так как в ЛИФЛИ в предыдущем году не было приема на филологический факультет.

Как совершилось мое дальнейшее знакомство и сближение с Лялей, я не помню. Но очень скоро она примкнула к тому небольшому дружескому кружку, который создался на нашем курсе под моим определяющим влиянием. Этот кружок включал в себя Яшу Бабушкина, Анку Эмме, Сусанну Розанову (тогда Альтерман),⁹ Шуру Выгодского,¹⁰ Во-

лю Римского-Корсакова,¹¹ а несколько позднее также Нину Магазинер и Игоря Дьяконова,¹² ставшего вскоре мужем Нины.

Основное, что объединяло нас, — полное неприятие царствовавшей тогда на факультете «вульгарной социологии»,¹³ которая требовала неукоснительно рассматривать каждого писателя как «представителя» той или иной социальной группы со своими специфическими классовыми интересами, которые рассматривались нашими учителями как *главное* содержание их художественного творчества.

Этой нелепой доктрине, господствовавшей в нашем преподавании и пронизывавшей всю тогдашнюю учебную и научную литературу, я, будучи еще студентом первого курса, объявил беспощадную и непримиримую вражду. Уверенный в вечном, общечеловеческом содержании великих произведений литературы и искусства всех эпох, я не питал ни малейшего сомнения в том, что литература и искусство всех эпох не только связаны нитью духовной преемственности, но и в том, что они образуют единое нераздельное целое. И ценность их составляет отнюдь не то, что они выражают интересы, идеи и настроения различных, сменяющих друг друга, классов и классовых «прослоек», а то, что в них запечатлены результаты наивысших этических и эстетических исканий и идеалов человечества, его представления о Красоте и Правде природы, общественной и личной жизни, незыблемые для нас, как и для людей *всех* исторических эпох, прошлых и будущих.

Так как я еще из школы знал немецкий язык, наша преподавательница немецкого языка, мать моего школьного товарища Коли Рёдера,¹⁴ освободила меня от посещения занятий нашего курса по немецкому языку. И, вернувшись вечером домой, в свободные часы я читал первые тома сочинений Маркса и Энгельса, которые убедили меня в том, что их взгляды на культуру и искусство не имели ничего общего с той вульгарной социологией, которая составляла главное содержание лекций, которые нам читали в университете. Позднее постепенно я стал излагать свои мысли по этому поводу на бумаге, и из них к 1934—1935 годам выросла рукопись в 200 страниц,¹⁵ которую переписали на машинке я сам и моя мама, пожертвовавшая для этого теми немногими часами, которые оставались у нее свободными после службы и бесконечных домашних хлопот. Свои мысли я по ходу работы излагал Яше, Анке, Шуре Выгодскому, Ляле и другим университетским друзьям, постепенно «заразив» их своими еретическими взглядами и своим энтузиазмом.

В это время мы уже все чаще начали встречаться вне стен университета. Наиболее часто это происходило у Ляли. Жила она в центре города на Невском, на углу Казанской.¹⁶ Выросла она в Москве, в дворянской семье. Ее отец, Игорь Владимирович Ильинский,¹⁷ до революции был адвокатом, а позднее одно время директором усадьбы и дома-музея Толстого в Ясной Поляне, а затем — в Литературном музее, у В. Д. Бонч-Бруевича. Он был дружен с С. Л. и А. Л. Толстыми,¹⁸ го-

стил при жизни их отца в имении и оставил об этом свои (краткие) мемуары.¹⁹ Вместе с С. Л. Толстым он напечатал в одном из изданий Яснополянского музея статью о романсе «Ключ», который любили Толстой и его семья.²⁰ Решающую роль в его нелегкой судьбе сыграла написанная им в первые послереволюционные годы поэма «Товарищ Маркс».²¹ В ней Игорь Владимирович описал приезд Маркса в большевистскую Россию и то глубокое разочарование, которое она у него вызвала. Сохранился ли хоть один список этой поэмы, я не знаю. Но за чтение ее в узком кругу своих ближайших друзей (в том числе родных Л. Н. Толстого) Игорь Владимирович в советское время многократно ссылался в Соловки,²² затем освобождался по ходатайству С. Л. Толстого и другого своего близкого друга писателя А. Н. Толстого²³ — и снова попадал в те же Соловки, где он сгинул в 1937 году. Познакомился я с Игорем Владимировичем в 1935 году и подробнее расскажу о нем дальше.²⁴

Матерью Ляли была замечательная русская женщина — Софья Григорьевна Ильинская. Как многие молодые русские девушки, выросшие в царское время и рвавшиеся к знанию, она получила медицинское образование в Швейцарии, в Лозанне. В 20-е и 30-е годы она была санитарным врачом Киевского района Москвы и ежедневно по будним дням обходила свой район, где все ее хорошо знали и любили.²⁵ В отличие от своего мужа, она происходила из московской купеческой семьи. Мать ее, одинокая, общительная, озабоченная старуха, жила в квартире Софьи Григорьевны своей независимой жизнью.²⁶ Первым мужем Софьи Григорьевны был Н. И. Курсанов, а сыном ее от первого брака — известный химик, член-корреспондент Академии Наук Д. Н. Курсанов.²⁷ Ляля была ее дочерью от второго брака. Выросла Ляля «дичком», так как отец ее находился в это время в Соловках, а мать все свободное время была занята хлопотами об его освобождении.²⁸ Несколько раз она ездила к нему, поэтому Ляля в ранние годы была в значительном мере предоставлена самой себе. Некоторые из них она провела в Дмитрове — у сестры отца, тети Кисы,²⁹ не имевшей из-за своего дворянского происхождения права въезда в Москву. Там же жили и другие родственники Ляли по отцу — Голицыны, Бакунины, Тургеневы и другие.³⁰ Жизнь там была голодная. В Дмитрове Ляля много времени проводила в старинных заброшенных церквях и монастырях, то сидя за книгой, то мечтая и воображая себя мальчишкой, сорви-головой, или бегая по различным переходам и лестницам, а то и смело взбираясь на монастырские стены и башни.

В 16 лет ее впервые отправили летом в Крым. Там она встретилась с тремя неразлучными друзьями, в то время студентами-медиками, и влюбилась, по-видимому, сразу в двух из них.³¹ После некоторых колебаний она вышла замуж за одного из этих молодых людей — Гавриила Сергеевича Стрелина (Ганю), сына симферопольского профессора-ботаника,³² хотя позднее она считала, что настоящей первой любовью

ее был его товарищ, биолог Г. С. Филиппов, рано умерший от туберкулеза.³³ Г. С. Стрелин (в годы нашей дружбы с Лялей он работал в Ленинграде в Военно-медицинской академии, а позднее в ВИЭМ,³⁴ став членом-корреспондентом Академии медицинских наук) был дружен с выдающимися ленинградскими биологами Дмитрием Николаевичем Насоновым и его женой Софьей Николаевной³⁵ и Владимиром (Веньямином) Яковлевичем Александровым.³⁶ Они, а также жившие вместе с Лялей и Ганей мать Гани Марья Александровна, ее дочь «Муха» (Александра Сергеевна) и ее муж — профессор Планово-экономического института Н. И. Виноградов³⁷ и ближайший друг семьи Стрелиных «дядя Гриша»³⁸ (один из основателей и могикиан Ленинградского рентгенологического института, фотография которого ныне находится в центре украшающей один из коридоров этого института фотовитрины его основателей в Песочной) были постоянными участниками наших дружеских вечеров в 30-е годы в ленинградской квартире Стрелиных на Невском, 25.

Неизменной царицей этих вечеров была Ляля. Обладая исключительно богатым воображением, она обладала блестящим талантом рассказчицы³⁹ и умела завладеть всеобщим вниманием и очаровать всех участников этих вечеров. В доме Стрелиных ее необыкновенно любили, а мы — ее товарищи по университету — преклонялись перед нею и были в нее все поголовно влюблены. Ляля была блестяще образована, говорила свободно по-русски и по-французски, а ее лицо, задумчивый взгляд и улыбка отличались необыкновенным очарованием. Постоянно оживленная и готовая на всевозможные выдумки...

¹ Ленинградский институт истории, философии и лингвистики, существовавший с 1931 по 1937 г.; он был выделен из ЛГУ и впоследствии снова с ним слит. Фридлендер учился в нем с 1932 г.

² Отец — Михаил-Александр Васильевич (Вильгельмович) Фридлендер (1879—1942), инженер-энергетик. См. о нем: «Трудармеец Фридлендер, Г. М.». С. 445—446.

³ В 1932—1933 гг. в СССР была проведена паспортная реформа, в ходе которой выдавались паспорта с записью о национальности, определявшейся по свидетельству о рождении. В семье Фридлендеров отец и сыновья были записаны немцами по свидетельствам евангелическо-лютеранской консистории. В итоге оба сына пострадали от репрессий: старший, А. М. Фридлендер (1910—1938), был расстрелян как «немецкий шпион», младший, Г. М. Фридлендер, выслан в 1942 г. как немец в Коми АССР. См.: Там же. С. 443—456.

⁴ О Я. Л. Бабушкине, жене Ильинской, см. с. 490; в письмах она постоянно упоминает о нем. *Тамарченко Анна (Анка) Владимировна* (1915—2015) — выпускница ЛГУ (1937), дочь художника В. В. Эмме (1875—1920), жена Григория Евсеевича Тамарченко (1913—2000). О супругах Тамарченко см. письмо 26 и примеч.

⁵ *Яковлев Михаил Алексеевич* (1886—1940) — преподаватель ленинградских вузов, автор работ по истории русской литературы и драматургии.

⁶ По-видимому, имеется в виду преподаватель ЛИФЛИ А. А. Аникин, один из авторов «Рабочей книги по литературе» (М.: Л., 1931), изданной для ФЗУ «на базе

пятилетки» и, другим выпуском, «на базе семилетки»; в 1935 г. он был выслан из Ленинграда. Летом-осенью 1933 г. ОГПУ провело кампанию против гомосексуалистов, выявленных и среди преподавателей ленинградских вузов (об этой кампании упоминается далее в воспоминаниях Фридлендера).

⁷ Бухаркин Виктор Иванович (1898—1938) — преподаватель западноевропейских литератур ЛГУ и ЛИФЛИ в 1930—1935 гг., ученый хранитель ИРЛИ, арестован в январе 1935 г. по обвинению в принадлежности к «контрреволюционной зинovieвской группе», расстрелян в 1938 г. Письма более позднего времени членов его семьи сохранились в архиве Г. М. Фридлендера.

⁸ Смирнов Александр Александрович (1883—1962) — доктор филол. наук (1937), профессор ЛГУ, шекспировед, критик, переводчик.

⁹ Розанова Сусанна Абрамовна, урожд. Альтерман (1915—2002) — выпускница ЛГУ (1937), канд. филол. наук (1940), до войны преподаватель Высшей школы НКВД в Могилеве, член ВКП(б) (1943), участница Великой Отечественной войны (демобилизована в звании майор), референт отдела культуры Совета военной администрации в Германии (1945—1949), член Союза писателей СССР, участник издания Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого, автор книг о нем, редактор издательства «Художественная литература». См. о ней в письмах Ильинской и примеч.

¹⁰ Выгодский Александр Гаврилович (1915—1941), Шура — выпускник романо-германского отделения ЛГУ (1938), в соавторстве с Г. М. Фридлендером написал комментарий к сборнику К. Маркса и Ф. Энгельса «Об искусстве», вышедшему под редакцией М. А. Лифшица (с его же вступ. статьей) двумя изданиями в 1937 и 1938 гг.; впоследствии был переработан в двухтомник и издан в 1957—1958 гг. Ушел на фронт добровольцем (политрук роты), хотя как сотрудник Ленинградского радиокомитета имел бронь, и пропал без вести в октябре 1941 г. В письмах, отправленных Фридлендеру в Архангельск, Ильинская постоянно вспоминала Шуру, которого «видела в Москве перед его отъездом дальше»: «Был он замечательно милый, мужественный и спокойный» (14 сент. 1941 г.); «...как он приходил в Ленинграде, снимая калоши у двери, входил вразвалочку, садился у печки, и начинались чудесные разговоры, от которых в памяти ни слова не осталось, а чувство дружбы, уважения и огромной близости. <...> Милый, какой он нескладный был в форме, сконфуженный, с добрыми, умными глазами» (12 дек. 1941); «...каждая страница Шекспира полна Шурой. Никогда я не думала, что он мне столько дал для литературы» (18 апр. 1942 г.). По воспоминаниям Г. Е. Тамарченко, «Шура беспредельно светился какой-то особой деликатностью. Он был чрезвычайно умен, имел свои собственные убеждения по самым острым вопросам современной жизни, но воздерживался от слишком категорических суждений» (Тамарченко Г. Е. Судьба одного семейства. С. 69).

¹¹ Римский-Корсаков Всеволод Андреевич (1914—1942), Воля — выпускник романо-германского отделения ЛГУ (1937), переводчик, внук композитора; умер от голода в блокадном Ленинграде. «Большим утешением для всех нас, — писал Г. Е. Тамарченко, — был Воля Римский-Корсаков. Этого высокого роста ребенка всегда хотелось погладить» (Там же. С. 69). «Такой он был подслеповатый, рассеянный, какой-то не защищенный от жизни», — писала Ильинская Фридлендеру 18 апр. 1942 г. См.: «Трудармеец Фридлендер, Г. М.». С. 452.

¹² Дьяконова Нина Яковлевна, урожд. Магази́нер (1915—2013) — выпускница ЛГУ (1937), специалист в области английской литературы, профессор ЛГУ и ЛГПИ, жена Игоря Михайловича Дьяконова (1915—1999), многолетнего сотрудника Эрмитажа, историка-востоковеда, доктора ист. наук.

¹³ См. во вступ. статье, с. 483.

¹⁴ Лица неустановленные. Г. М. Фридендер учился в ленинградской Петришулле в 1924—1931 гг.

¹⁵ Об этом «трактате» см. во вступ. статье, с. 483. Прочитав первую его редакцию, М. А. Лифшиц обстоятельно ответил Фридендеру. По его замечаниям она была переработана и в таком виде сохранилась в архиве Фридендера. Впоследствии «трактат» был использован при работе над комментариями к сборнику «Об искусстве» Маркса и Энгельса (см. выше).

¹⁶ Описание встреч университетских товарищей на квартире Стрелиных, где жила Ильинская, см.: *Тамарченко Г. Е.* Судьба одного семейства. С. 60—61. И. Е. Верцман, в одном из писем с фронта к Фридендеру, назвал эти собрания «салоном Ляли».

¹⁷ Об И. В. Ильинском см. во вступ. статье, с. 481—482.

¹⁸ *Толстой Сергей Львович* (1863—1947) — старший сын Л. Н. Толстого, композитор, музыкальный этнограф; *Толстая Александра Львовна* (1884—1979) — младшая дочь Л. Н. Толстого, мемуаристка, общественная деятельница, основательница и первая руководительница музея Ясная Поляна. В мемуарах «Дочь» (1979) А. Л. Толстая назвала работавшего ее заместителем И. В. Ильинского своим другом.

¹⁹ Ильинский познакомился с Л. Н. Толстым в 1898 г., будучи еще гимназистом. См.: *Ильинский И. В.* Мои поездки в Ясную Поляну: (Из юношеских воспоминаний) // Толстой: Памятники творчества и жизни. М., 1923. [Вып.] 4. С. 88—130.

²⁰ См.: *Ильинский И. В., Толстой С. Л.* Квартет «Ключ» в романе «Война и мир» // Звенья. М.; Л., 1933. Вып. 2. С. 618—628.

²¹ О поэме Ильинского см. во вступ. статье, с. 482.

²² И. В. Ильинский на Соловки был сослан летом 1925 г. и в том же году по ходатайству Е. П. Пешковой, к которой обратилась его жена, отправлен в Бутырки, а вскоре и выпущен оттуда.

²³ С писателем Алексеем Николаевичем Толстым (1883—1945) И. В. Ильинский был в большом дружбе. В 1932 г. Толстой намеревался передать ему, в ответ на его просьбу, свой творческий архив (см.: *Толстой А. Н.* Письма разных лет // Вопросы литературы. 1983. № 1. С. 116). О том, как он «выцарапал» Ильинского из тюрьмы через Горького, писал В. И. Вернадский в 1936 г. сыну Г. В. Вернадскому (Минувшее: Ист. альм. СПб., 1998. Вып. 23. С. 341).

²⁴ Записей об И. В. Ильинском в архиве Фридендера не сохранилось.

²⁵ В дневнике В. И. Вернадского (запись от 9 дек. 1938 г.) есть упоминание о работе С. Г. Ильинской: «...жена Игоря была у секретаря Ежова. Он принял ее очень любезно, говорил глав<ным> обр<азом> о ней — она ударница и работ<ница>, премированная и распремированная. Когда она сказала, что больше года не знает ничего о муже, он сказал примерно: “Вы не беспокойтесь, работайте — если он умрет — Вы получите извещение”» (*Вернадский В. И.* Дневники, 1935—1941: Кн. 1. С. 347).

²⁶ По воспоминаниям С. М. Голицына, с Ильинскими жила мать Игоря Владимировича — «необыкновенно уютная, впадшая в детство старушка» (*Голицын С. М.* Записки уцелевшего. С. 287).

²⁷ Курсановы оставили заметный след в русской науке XX в. *Николай Иванович Курсанов* (1874—1921) — химик-органик, профессор кафедры аналитической и органической химии Московского университета, его брат *Лев Иванович* (1877—1954) — ботаник, организатор кафедры низших растений Московского университета, в честь которого на биофаке проводятся ежегодные Курсановские чтения. Их дети — *Дмитрий Николаевич Курсанов* (1899—1983), химик-органик, чл.-корр. АН СССР (1953), лауреат Ленинской премии (1963), и *Андрей Львович Курсанов*

(1902–1999), физиолог и биохимик, акад. ВАСХНИЛ, Герой социалистического труда.

²⁸ По-видимому, имеется в виду период тюрем и ссылок И. В. Ильинского 1922–1925 гг. — см. во вступ. статье, с. 481.

²⁹ *Киса* — домашнее прозвище Екатерины Владимировны Ильинской (1882–1962), которой в юности пророчили карьеру певицы; учительница музыки. Сослана в Сибирь как баптистка в 1931 г. (см. упоминание о ней как об «евангелистке» в письме 17), освобождена в 1933 г. С помощью Е. П. Пешковой и Политического Красного Креста пыталась выехать к сестре Н. В. Вернадской в США; с 1940 г. жила в семье В. И. Вернадского; скончалась в Тарусе.

³⁰ Об этом периоде в жизни Ильинской см. во вступ. статье, с. 482–483. Голицыны, упоминаемые Фридлендером, были не родственниками, а друзьями Ильинской — это дети кн. М. В. Голицына (1873–1942) С. М. Голицын и М. М. Голицына (1911–1988), впоследствии жена В. С. Веселовского, подруга Ильинской. О родственных связях Ильинской с Бакуниными и Тургеневыми см. во вступ. статье, с. 481, а также письмо 11 и примеч. 2.

³¹ Имеются в виду Г. С. Стрелин и Г. С. Филиппов (см. ниже), а также В. Я. Александров (см. письмо 20, примеч. 5).

³² *Стрелин Гавриил Сергеевич* (1905–1992) — эмбриолог, гистолог и радиолог, чл.-корр. АМН СССР (1965); его отец Сергей Львович Стрелин (1875–1943) — миколог, сотрудник Салгирской опытной станции в Крыму в 1916–1925 (директор с 1921 г.), зав. сектора фитопатологии с 1925 г., профессор Симферопольского сельскохозяйственного института. Стрелины были родом из Харькова (в анкетах указывалось: из мещан), в 1910–1914 гг. жили в Берне, где стажировался С. Л. Стрелин, с 1916 г. — в Крыму.

³³ *Филиппов Григорий Семенович* (1898 или 1900–1933) — генетик, миколог, рентгенолог, аспирант Государственного рентгенологического и радиологического института (1929), сотрудник Микробиологической лаборатории АН СССР (1930–1933), умер от туберкулеза. «Гришину смерть» как одно из своих самых сильных потрясений Ильинская упоминала в письме к Фридлендеру в Архангельск от 12 дек. 1941 г. 3–6 марта 1942 г. она вновь упомянула его в связи с желанием «написать книгу о Грише Филиппове».

³⁴ *ВИЭМ* — Институт экспериментальной медицины (С.-Петербург), ранее Всесоюзный институт экспериментальной медицины АМН СССР. Основным местом работы Г. С. Стрелина был Центральный научно-исследовательский рентгено-радиологический институт (зав. лабораторией экспериментальной гистологии, с 1963 г. зам. директора по науч. работе); ныне Российский научный центр радиологии и хирургических технологий (С.-Петербург). До войны Г. С. Стрелин — преподаватель Военно-медицинской академии, в анкете его сестры А. С. Стрелиной указана категория, соответствующая старшему начальствующему составу («комсостав КА»).

³⁵ *Насонов Дмитрий Николаевич* (1895–1957) — цитофизиолог, лауреат Сталинской премии (1943), чл.-корр. АН СССР (1943), акад. АМН СССР (1945), директор ИЭМ АМН СССР (1948–1950), первый директор Института цитологии РАН; жена (с 1924 г.) Софья Николаевна Насонова, урожд. Михайлова, биолог. См. письмо 20 и примеч. 5.

³⁶ О В. Я. Александрове см. там же.

³⁷ Члены семьи Г. С. Стрелина: мать *Мария Александровна Стрелина* (1876–1942); сестра *Александра Сергеевна Стрелина* (1903 — после 1951), по образованию юрист, библиотекарь Украинского института марксизма-ленинизма в Харькове (с 1929 г.) и БАН в Ленинграде (1932–1951); ее домашнее прозвище было не Муха,

а Кошка; муж Стрелиной (с 1925 г.) *Николай Иванович Виноградов* (1898 — после 1951), инженер-электрик, доцент Ленинградского планового института. 14 июля 1942 г. Ильинская писала Фридлендеру о смерти М. А. Стрелиной в Самарканде: «Не могу без слез вспомнить ее стоптанные туфли, старый берет, суетливое и нескладное хозяйство. Я много с ней ссорилась, но теперь это отошло, а остались только важные и трогательные воспоминания о ее постоянном самопожертвовании ради “детей”, к которым относилась и я, несмотря на то что я сделала столько зла Гане. <...> Душенька моя! Она вспоминала меня перед смертью: “Лявущка наша родная”. К сожалению, нет “того света”, где я могла бы отблагодарить ее за всё — и за ласку, и за вкусные кусочки, которые она мне приберегала, и за штопанные чулки, и за эти предсмертные слова».

³⁸ *Дядя Гриша* — лицо неустановленное (возможно, Фридлендер перепутал имя); Ленинградский рентгенологический институт в Песочной (пригород Петербурга) — см. примеч. 34.

³⁹ В письмах Ильинской к Фридлендеру постоянно встречаются эпизоды, свидетельствующие об исключительности ее дара рассказчицы; например, о дороге из Москвы в Иркутск: «Ехала я долго одна. <...> И столько со мной ехало милых, очень одиноких и печальных женщин, что как-то легко было забыть о себе. Я им всю дорогу рассказывала Мериме, Стивенсона, Диккенса, собственные изобретения и к Свердловску осталась совсем без голоса» (14 сент. 1941 г.).

II. ПИСЬМА О. И. ИЛЬИНСКОЙ К Г. М. ФРИДЛЕНДЕРУ

1. <19 августа 1942 г. Иркутск>

Родной мой, получила это письмо на розовой бумажке — такое не розовое.¹ Эх, Юра, много нам с тобой попадало по голове и по иным частям тела. Такова русская судьба. <Пушкин> вздыхал: «Черт угадал меня родиться...»² И, однако же, он за любое счастье не согласился бы родиться даже и в раю. Будем и мы, как полагается русским, упрямыми и «романтичны». Я знаю тебя и верю в тебя. Если я могу не «обижаться», то ты тем паче. Ты ведь умный, ты мой старшой. Это сибиряку обижаться позволительно, который от брюха живет. Ты думаешь, я не понимаю, как тебе горько, одиноко и страшно? Ты мой брат, и я с тобой всё это переживаю, тем более что наши судьбы во многом совпадают. И за тебя мне беспокожно. Но все-таки ни писать, ни думать о том, что ты сомневаешься в значимости и истинности твоего, нашего юношеского «романтического» периода — позволять себе нельзя. Конечно, во всем этом, особенно до окончания института, было немного Лапуты,³ такая отдаленность от эмпирии, высота птичьего полета (и жизнь нас поправила, и Мих<аил> Ал<ександрович> тоже со своей «резиньницей» — впрочем, его поправка тоже была «с высоты птичьего полета»),⁴ но суть остается, и ты имеешь законное право гордиться и той твоей работой об искусстве.⁵ Ну, на худой конец, надо вспомнить о том, что тебе было очень немного лет, когда ты в духовном смысле создал Яшку⁶ (а это, честное слово, неплохо) и помог вырасти Шуре.⁷ Можешь

помянуть и меня, хотя это и не столь большая заслуга — испечь такую меня. Все эти твои друзья, которые стольким тебе обязаны, — доказательство того, насколько реальны и жизненны были твои мысли. Отчего «были»? что изменилось? Ну, вот что я тебе скажу. Мне лично твоя закваска поможет перенести всё самое тяжелое и трагическое, если только я останусь жива. Потому что как бы ни затягивалась «предыстория», какие бы поправки ни вносились, будущее человечество будет таким, как мы мечтали. <...> И мы не одни. У нас обязательства перед Шурой и, вероятно, перед Яшей. От него нет и всё нет писем уже 2 месяца и 8 дней. <...> И перед Волей.⁸ И перед тысячами, которые «на земле свое не долюбили».⁹ Твоя судьба, может быть, самая трудная, и что я могу тебе написать из своего Иркутска, где я пока более или менее сыта, где у меня мать, работа и книги? Я не знаю, что стало бы со мной в твоём положении. Я бы, наверное, плакала и жалела бы себя, но считала бы я, что надо выжить, вытерпеть и не падать духом. Считала бы я, что самое страшное — отчаяние и безразличие. <...>

¹ Речь идет о первом письме Фридлендера из лагеря.

² Из письма Пушкина к жене от 18 мая 1836 г. Далее речь идет о его письме к Чаадаеву от 19 окт. 1836 г.: «...ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал» (*Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 16 т. М.; Л., 1949. Т. 16. С. 117–118, 172).

³ См. во вступ. статье, с. 485.

⁴ О «резињяии» М. А. Лифшица см. там же.

⁵ Имеется в виду «трактат» Фридлендера о воззрениях Маркса и Энгельса на искусство (см. с. 483 и 499, примеч. 15).

⁶ *Яшка* — Я. Л. Бабушкин.

⁷ *Шура* — А. Г. Выгодский.

⁸ *Воля* — В. А. Римский-Корсаков.

⁹ Цитата из поэмы В. В. Маяковского «Про это» (1923).

2. <6 сентября 1942 г. Иркутск>

Драгоценный мой, давно уже получила твое письмо из Коми, но лежала в больнице, где мне брюхо резали, и ответить не могла. Милый брат мой и друг, что и как могу я написать тебе из Иркутска, где я более или менее сыта и живу пока в тепле, среди книг, рядом с мамой? Мне стыдно перед тобой за всё это сравнительное благосостояние, и скажу тебе — кажется, скажу правду, — что я предпочла бы обменяться с тобой местами, чтобы не мучиться беспомощностью, невозможностью хоть немного тебе помочь. На днях, еще в больнице, получила письмо от Изи,¹ которое дало мне надежду, что я все-таки смогу помочь. Ты знаешь, что я от Яши ничего не получаю с 6/VI, а вот Изя, который где-то под Ленинградом, получил 15/VIII. Яша пишет ему: «О Ляльке ты должен знать больше, чем я». И потом об Анжель Морисовне...² «Она

очень болела и очень неохотно собирается уезжать... ее, видно, придется отправить к тебе» (ко мне). Для нас с мамой было бы большим счастьем, если бы она приехала. <...>

Дружок, какие идиотские мысли приходят тебе в голову. Неужели ты думаешь, что есть на свете обстоятельства, которые могли бы поколебать нашу дружбу и мою веру в тебя, в тебя, который сделал из декадентской барышни, кандидатки в Эммы Бовари,³ сознательно советского человека? Ты даже не знаешь, сколько ты сделал для моего внутреннего «я», для моего развития. Ведь если бы не ты и не Яшка, я, вероятно, растранижилась бы в любовных похождениях низкого пошиба и в импровизированных ресторанных развлечениях. Ну, об этом хватит. Только знай и помни, что, кто бы и что о тебе ни сказал и как бы тебя ни назвали, ты останешься для меня единственным всегдашним моим другом Юрой, моим родным умным мальчиком, с которым я вместе страдала, вместе радовалась, вместе думала и буду думать, еще буду. Тем более что мы с тобой уже встречались в жизни с такими «ошибками»,⁴ и на меня меньше, чем на кого бы то ни было, может повлиять перемена твоего адреса. Война, дружок, война. Здесь наши личные качества никем не принимаются во внимание (увы). Единственно, чего я боюсь, — это, что ты заболеешь или так упадешь духом, что у тебя не хватит энергии и силы перетерпеть все трудности до конца войны. До нашей встречи. Ты худой и слабый, но сила воли и здесь помогает. <...> Ведь худенький Яшка с tbc* в прошлом перенес голод лучше, чем многие сильные люди, а твое питание все-таки лучше, чем было у них зимой.⁵ Ну, не мне учить. А вот мне брюхо резали, и хорошо. Если бы не операция, говорит врач, то зимой я, вероятно, сдохла бы, если не от аппендицита, то от заворота кишок. У меня было столько спаек, что операция, которая должна длиться 10 минут, длилась больше часа. И это под местным наркозом, который обезболивает только кожу. Из этой операции я вынесла маленькую гордость, как и из других своих опытов в этом роде. Я могу терпеть, и доктор сказал, что я удивительно терпелива и что только поэтому они меня не усыпили в середине операции. Другие бабы орут и сразу, как только их положат на стол, а я не пищала. Вот так я, да вот так я! Потому что известно, чтобы боль заправляла твоей волей, и разум должен всё мочь. И он у меня мог велеть терпеть. А все-таки это ужасная штука — физическая боль, целая симфония болей. Только и можно спастись, устраивая себе из этого университет. Кажется, что на тебя обрушился Кавказский хребет и давит тебя, и ты сходишь с ума, потому что вот с этой самой минуты уже терпеть нельзя, нет, нельзя. Ведь это же не может быть, это невозможно, чтобы тебе, Ляле, было так больно, так больно. К черту — терпеть! Но ты, другая, говоришь: смотри, смотри, ведь это ты же, та самая, которая любит Шекспира («Измучась всем, не стал бы

* tuberculosis (лат.), т. е. туберкулез.

жить и дня, Да другу будет трудно без меня!»)⁶ и Чайковского, а тебе тянут кишки. Здесь ты даже можешь засмеяться про себя. И ты хочешь думать о Яше, о том, что он храбрый и терпеливый... И, честное слово, я думала о Яше, и всё это было даже немного интересно. А потом женщины рядом со мной в палате дни и ночи говорили о том, как их бросали мужья, и как они бросали мужей, и кто сколько раз был беременен, а мне казалось, как и раньше в больницах, что жизнь — сплошная гинекология. Очень скучно! Я им рассказывала «Вия», и сказки Андерсена, и даже романы Марселя Прево.⁷ Самые интересные люди в больнице — два маленьких мальчика, 6 и 10 лет, с которыми я очень подружилась, и они сидели у меня на постели с утра и до вечера. Я им тоже рассказывала, и рисовала лежа, и вырезала картинки. Очень приятно было им нравиться, потому что в Иркутске почти нет людей, которым стоило бы нравиться и стараться для этого. А как без этого? Понимаешь, для того чтобы нравиться этим женщинам, надо иметь 10 мужей, или убить кого-нибудь, или иметь трех коров. Что-нибудь в этом роде. Не в моих возможностях. <...> Как только выйду — pošлю тебе книги. Хочешь ты Лейбница по-французски? Там есть и «Теодицея», Полемика с Гоббсом⁸ и т. д. Но это, конечно, не единственная книга, которую я тебе собиралась послать. Еще раз целую. Ляля — вспоротый живот.

¹ *Изя — Израиль Ефимович Верцман* (1906—1992), критик и литературовед, канд. филол. наук (1940), перед войной заведовал отделом журнала «Литературный критик», в 1941 г. рядовой московского ополчения, затем корреспондент фронтовой газеты «За Советскую Родину» и военный переводчик, демобилизован в чине капитана, преподаватель различных вузов, редактор издательства «Советская энциклопедия» (1954—1970), автор работ по вопросам идеологии и реализма эпохи Просвещения.

² *Фридлиндер Анжель Морисовна* (1886—1956) — мать Г. М. Фридлиндера; речь идет о планировавшейся эвакуации ее из Ленинграда (не состоялась). См. о ней: «Трудармеец Фридлиндер, Г. М.». С. 444—445.

³ Героиня романа «Госпожа Бовари» (1857) Г. Флобера.

⁴ Речь идет о репрессиях сталинского времени, коснувшихся семей Ильинской и Фридлиндера. Ее слова «как бы тебя ни называли» относятся к шельмованиям типа «враг народа».

⁵ Ильинская говорит о первой блокадной зиме в Ленинграде. Большое впечатление на нее произвела статья «Я ленинградец» в «Комсомольской правде» от 11 янв. 1942 г., после которой стало «стыдно есть, пить, смеяться» (10 февр. 1942 г.). Письма же Яши Бабушкина, возможно, по соображениям идеологического характера, приносили ей иные новости из Ленинграда: «26/XII <...> пишет: “Мы, кажется, пересидели блокаду. Уже последние дни стало легче”» (22 янв. 1942); «Пишет, что стало заметно лучше во всех отношениях. Тон оптимистический, как всегда» (22 марта 1942 г.).

⁶ Из сонета 66 Шекспира, пер. Б. Л. Пастернака.

⁷ *Прево Эжен Марсель* (1862—1941) — французский писатель и драматург.

⁸ Имеются в виду «Опыты теодицеи» (1710) и письма к Т. Гоббсу (1670—1674) немецкого философа Г. В. Лейбница (1642—1716).

3. <9 сентября 1942 г. Иркутск>

<...> Я всё больше лежу. Так мне врачи раскопали всё нутро, что даже комнату не могу подмести. Начинает болеть спина. Читаю Вальтер Скотта в больших и ненужных количествах, а также папашу Гюго, старого крикуна, о котором мне опять велят писать наперекор стихиям. Вот уж «смейся, паяц»...¹ Очень соскучилась о студентах. Мечтаю опять «сеять разумное, доброе, вечное». Теперь это у меня — род недуга. Недавно прочитала где-то, что «стремление поучать — обязательный спутник невежества».² И очень обиделась. Уж это прямо на меня намек. Прости за болтовню. Ведь не писать же о том, что на душе пакостно, что будущее туманно, что газеты мрачные? Сейчас вернулись из Бакарицы³ два моих письма к тебе, целые сочинения на мировые темы с изложением доступной мне философии жизни. Может быть, и хорошо, что ты их не получил. Буду писать очень часто, милый, милый брат мой. Но если письма будут малоинтересные, не сетуй. Всё время мысленно с тобой. Целую тебя. Крепись. Л.

¹ «Смейся, паяц, над разбитой любовью...» — цитата из арии Канио, опера «Паяцы» (1892) Р. Леонкавалло (1857—1919).

² Источник цитаты не известен.

³ Бакарица — пригород Архангельска, где с февраля 1942 г. служил рядовой строительного батальона Г. М. Фридлендер; в конце июля был выслан в Коми АССР (см.: «Трудармеец Фридлендер, Г. М.». С. 447—449).

4. <22 сентября 1942 г. Иркутск>

<...> Я ездила в город 19-го и предприняла шаги, чтобы переслать тебе книги. Говорила об этом с Марком Константиновичем Азадовским,¹ и он обещал с жаром достать всё, что тебе нужно. Купить нельзя. Единственный букинистический магазин стоит пустой. Марк Константинович говорил о тебе с большой доброжелательностью и сказал: «Это самый талантливый человек из всех известных мне ленинградских аспирантов. Вот если бы мы могли передать ему курс русской литературы, то я был бы спокоен». Конечно, ничего для того, чтобы осуществить это, он сделать не может. Так что я получила платоническое удовольствие от похвалы тебе. Мне он настойчиво предлагает защитить диссертацию. Защитить на мою тему в Иркутске нельзя.² Ни в Иркутске, ни в Томске нет подходящих книг. Надо выбирать другую тему, но та, которую предложил Азадовский, привела меня в ужас. <...> Тема: «Золя в “Вестнике Европы”».³ Бог мой, об этом и статьи-то в лист не напишешь! Какие тут вопросы? 1) Причины популярности Zola в России в 70-е гг. 2) Отношение к творчеству Zola Салтыкова.⁴ Еще что? Тема эта не только провалит любую мою работу, но и ни одной лекции моей не выдержит, настолько представление об интересном и научном в ней расходится с моим.

Что NN знает о тебе? Твою статью о Гегеле⁵ он не очень хвалит, да, кажется, она и действительно не была уж очень хорошей. Может быть, он говорит о тебе со слов Вас Вас'а?⁶ Лукача⁷ он за человека не считает, но весьма уважает болтушку Реизова.⁸ «Москвичи» у него слово ругательное, но, кажется, он имеет в виду Нусинова⁹ и К⁰. В качестве руководителя обещают мне акад. Белецкого,¹⁰ а я о нем ничего не знаю по моей дикости. Кроме того, что он академик. Так защищать? Как ты скажешь? Но я не смогу написать так, что понравлюсь Белецкому. Конечно, на всё это следует смотреть *только* как на чисто практическую необходимость. И всё же писать нечто вполне бессодержательно академическое я не могу.

Начала писать тебе только оттого, что меня томит почти такое же одиночество, как и тебя. <...> Яшка! Знаешь, я дошла до нелепости, до полной нелепости. До письма от Изи я думала, что Яша болен или погиб, и это было ужасно, а теперь я его ревную. С отвращением к себе самой должна признаться, что это еще хуже, чем беспокойство. Я знаю, что это такая идея. В Ленинграде сейчас... И кто же? Яшка. Ведь это не подходит ему. Но все-таки я ревную, шут знает к кому и шут знает почему. <...>

Кажется, что все меня забыли, и никто, кроме тебя, друг, не выдержал проверки временем и разлукой. Прости, что я тебе жалуясь. Тебе вот действительно плохо. Но уж если писать о себе, то как уж не писать обо всем этом? С Сус дело обстоит серьезнее.¹¹ В ее последнем письме сообщается, что она уезжает, и всё. А дальше — молчание, писем нет. До этого она писала очень часто. У меня на стене висит ее ужасная фотография, которую она мне прислала весной, но все-таки это Сус, а тебя у меня нет. Я оставила в Москве. Пиши, милый, родной. Я хочу послать тебе денег. Но до октября их у меня не будет. Тебе нужна теплая одежда. Как же с этим быть? Целую тебя, Юра. Ляля.

¹ Азадовский Марк Константинович (1888—1954) — филолог, фольклорист, этнограф, профессор ЛИФЛИ и ЛГУ (с 1938 г.), сотрудник ИРЛИ; в 1942—1945 гг. профессор Иркутского университета.

² Диссертация, над которой Ильинская начала работу в аспирантуре еще до войны, была связана с творчеством французского писателя Эмиля Золя (1840—1902).

³ Фридлендер, как это видно из последующих писем Ильинской, горячо поддержал инициативу Азадовского. В довоенное время вышли работы о Золя М. К. Клемана (1897—1942), обнаруживающие значительную историко-литературную глубину предложенной Азадовским тематики. Диссертации на тему «Эмиль Золя в «Вестнике Европы»» так и не появилось.

⁴ Речь идет о М. Е. Салтыкове-Щедрине (1826—1889).

⁵ Статьи Фридлендера, о которой говорит Ильинская, обнаружить не удалось.

⁶ Ильинская называет университетское прозвище научного сотрудника ИРЛИ РАН, профессора ЛГУ Василия Васильевича Гиппиуса (1890—1942), который руководил работой Г. М. Фридлендера в аспирантуре ЛГУ в 1938—1940 гг. В архиве сохранилось его письмо с отрицательной оценкой диссертации Фридлендера о «Войне и мире».

⁷ Лукач Дьёрдь (Георг) (1885—1971) — венгерский философ, эстетик, литературовед, один из крупнейших теоретиков современного марксизма; научный сотрудник Института философии АН СССР (1933—1945), единомышленник М. А. Лифшица в борьбе против формализма и вульгарного социологизма, деятель Венгерской народной республики (с 1945 г.).

⁸ Реизов Борис Георгиевич (1902—1981) — филолог, профессор ЛГУ, лауреат Государственной премии СССР (1974), чл.-корр. АН СССР (1970), специалист по истории европейских литератур XVIII—XIX вв.

⁹ Нусинов Исаак Маркович (1889—1950) — литературный критик и литературовед, исследователь русской и еврейской литературы, в 1930-е гг. сторонник вульгарного социологизма, полемизировавший с Лукачом и Лифшицем.

¹⁰ Белецкий Александр Иванович (1884—1961) — филолог, акад. АН УССР (1939), АН СССР (1958); во время эвакуации находился в Томске.

¹¹ Сус — военная переводчица, младший лейтенант С. А. Альтерман (Розанова), была отправлена под Сталинград.

5. <13 октября 1942 г. Иркутск>

Дорогой мой Юра, уже давно не получаю от тебя известий и страшно беспокоюсь. Ради бога, напиши скорее о своем здоровье и жизни. Посылаю тебе бумагу и марки. Получаешь ли ты письма от друзей? Сусанна послала тебе длинное письмо. Она теперь около Сталинграда, в настоящей боевой обстановке. Работы у нее много, и она удивительно интересно пишет о своих встречах и впечатлениях. Молодец наша Сус. От Яши я получила наконец телеграмму, которая заставила меня много плакать. В телеграмме: «Жив. Здоров. Работаю по-старому. Целую. Писать не могу. Твой Яша». Я два месяца, нет, четыре думала, что он погиб или болен, а он «просто» не мог писать, так же как не мог писать и в Москву по целым месяцам. Ты знаешь, что сейчас отношения с далекими родными людьми особенно дороги. Их идеализируешь. Это самое дорогое и ценное, что у нас есть. Мне и казалось всё до последнего времени (до Изиного письма), что если Яшка жив, то он думает и беспокоится обо мне, и оба мы не одни на свете. И вдруг «писать не могу» — старая его жесткость и бессердечие по отношению к близким. Что уж тут говорить о любви и заботе. Теперь я переплакала это горе и стараюсь жить настоящим, не мечтая о встрече и о том, что где-то и у меня есть свой кровно-близкий, «мой мужик», как говорят здесь женщины. <...>

Работа моя, эта чудесная работа, опять началась, и вокруг меня всё время молодежь самых разных возрастов, очень сердечная, ласковая и внимательная ко мне. Я говорю «разных возрастов», потому что ко мне теперь ходят и маленькие дети — мальчик Петя 10-и лет и его сестричка 6-и лет. Я ему достаю книги и разговариваю с ними. Мы друзья. Девочке я сшила куклу — первую в ее жизни. Кроме того, и это моя большая радость, по воскресеньям у меня собираются 5 школьников 8—9 классов, чудесные мальчишки, пытливые, начитанные, доверчивые, как собаки юношеского возраста. Из них я, с благословения заву-

ча их школы, организовала историко-литературный кружок. На днях университет должен взять шефство над этим кружком и планово снабжать нас книгами. Пока я вожу им книги на своей спине из города. Мы занимаемся сейчас греческой трагедией, и им это очень нравится — делать доклады и спорить. Похоже на игру. Конечно, я всю стараюсь вырвать их из мещанской провинциальной ограниченности, сделать их всемирно-историческими мальчишками, мыслящими человечками, а не хозяйчиками и ненавистниками рода людского, как здесь принято. Здесь и дети «кулачки» — вот беда! Очень меня это увлекает, но боюсь я как-то, когда вижу вокруг себя их оживленные лица и жадные до мысли и знаний глаза. Такая тонкая штука — человек, и прикасаться к нему, особенно в юности, надо осторожно, чтобы он не чувствовал опеки и презрительного руководства. Пока мы друзья и равные. Со студентами всё по-старому, только в пединституте такой мороз, что девушкам не до литературы. Часто я прихожу в отчаяние, т. к. вижу на лекциях их красные носы и бессмысленные глаза. Всё это от холода. В университете теплей, и головы живей работают. Сейчас с моим любимым курсом мы плывем по волнам Просвещения, и они так же, как и я, немного влюблены в Фильдинга и Смолетта.¹ <...> Стыдно признаться, почему я до сих пор не исполнила твоей просьбы относительно книг. Я узнала, где можно купить нужные книги, но у меня нет денег. Я с июня не получала зарплаты, и богатство мое определяется 300 руб. долгу, который набирался по десяткам на каждый день. 15-го должна получить деньги, и тогда сразу пошлю. Не вини меня, я знаю, как тебе это нужно, и сделаю обязательно. Целую тебя, родной. Ляля.

¹ Английские писатели, романисты Г. Фильдинг (1707—1754) и Т. Дж. Смолетт (1721—1771).

6. <22 октября 1942 г. Иркутск>

Родной мой, наконец, получила от тебя письмо и, насколько возможно, благополучное. Конечно, я поговорю с NN,¹ но ведь он человек честный только «по мере возможности». Если он найдет, что может дать отзыв без ущерба для себя, то даст, а если, с его точки зрения, это окажется для него хоть мало-мальски неудобно, то уклонится. Но пристану я крепко и постараюсь сделать так, чтобы уклониться, сохраняя внешнюю благопристойность, для него оказалось невозможным. Может быть, это и поможет.

Нет, дружок, такую тему диссертации я не взяла.² <...> Может быть, тема, которую я выбрала, меньше тебе понравится, но как есть так есть. Вот она: «Просветительские традиции в творчестве Гюго». Я хочу показать, во что превращается противоречие частного человека и гражданина у романтиков. Помнишь, я много возилась в Москве с одной штукой у Гюго? С его контрастами вечно человеческого и историческо-

го, с обязательными «подвигами» его героев, которые, как скорлупу ореха, сбрасывают с себя «влияние среды» — и, оголившись до полного ничего, помирают, потому что этакому «вечно человеческому» бесплотному ангелу на земле больше нечего делать. Я находила эту историю и во всех его антитезах: «Она была больше, чем королева. Она была женщина»;³ «Он стал больше, чем дворянин, — он стал Человеком»⁴ etc. etc. Революционер Симурден — Симурден друг, Марион де Лорм куртизанка — любящая женщина, шут Трибулэ — Трибулэ отец.⁵ Несть им числа и края, и начало их еще в предисловии к «Кромвелю».⁶ «Человек — это полу-зверь, полу-ангел».⁷ Это не деталь, а основная тема, и если ты вспомнишь «Отверженных», то ты увидишь, что весь роман строится по обычной схеме: герой совершает «хождение по мукам» и с каждой ступенью сбрасывает с себя определенную «социальную», что ли, оболочку, одну за другой всякие «ограниченности», всякие корыстные заинтересованности. Вспомни подвиг почтенного мэра — Жана Вальжана, потом еще несколько раз, вплоть до отказа от Козеты, и тогда «это был уже не человек. Это был ангел».⁸ И Жан Вальжан умирает. Или в «93 году» маркиз, который спасает детей *крестьянки*, жертвуя своей жизнью.⁹ Говэн, который жертвует честью революционера и долгом во имя какого-то более высокого человеческого долга. Он спасает *добротного* маркиза и гибнет сам.¹⁰ И в Симурдене друг побеждает террориста. И в Жавере человеческое побеждает «гражданина», жандарма.¹¹ И хуже всех те, которые не способны вылезти за пределы сословного, гражданского, исторического. Таковы злодеи у Гюго, таковы его смешные герои (Феб),¹² таковы трагически ошибающиеся (Анжолерас и др<угие> молодые люди на баррикадах в «Отверженных», отчасти и троица якобинцев в «93 г<оду>»), не нашедшие не единственного, но самого правильного пути (какое сходство с Диккенсом в «Повести о двух городах»,¹³ где тоже «два пути», путь «гражданина» и путь «человека», причем только последний прямехонько ведет в рай). Ну, это всё только абсолютно верное наблюдение. Я и не знала, что делать с этой «частностью», пока не вспомнила, что в XVIII веке у 70% писателей под «социальной» оболочкой сидит «естественный человек», от природы добрый, добродетельный, т. е. награжденный общественным чувством, заботой о счастье других людей etc. etc. Хотя бы Смолетт и его герои с их профессиональной ограниченностью, которая к концу романа делается прозрачной, и за ней оказывается добрый, любящий, незапятнанный, чувствительный человек. Только в XVIII веке у авторов «семейных романов» историческая форма и надысторическое содержание сожигательствуют без всякого трагизма. Трагизм преодоления формы проявляется у немецких романтиков, у Гофмана. И только в XIX веке «гражданственность» так залихватски оплевывается ради вечных чувств. У Виньи Сен-Марсу прощается даже предательство родины на том основании, что предательствует он из-за любви к женщине.¹⁴ Правда, у него же «величие

солдатской жизни» заключается в том, что солдат должен перестать быть отцом, любовником, другом, мужем, т. е. стать чистой аскетической абстракцией гражданского долга. У Гюго еще Бюк-Жаргаль¹⁵ героичен потому, что он предаёт своих негров, спасая французского офицера, жениха своей возлюбленной. Но и Жавер в своей «гражданской» стойкости величественен, и грош была бы ему цена, если бы он не покончил самоубийством, нарушив свой гражданский долг.

Что со всем этим делать, я и сейчас до конца не знаю, или знаю весьма еще интуитивно. Но что это всё те же «буржуа» и «гражданин», с явным только перевесом в сторону «буржуа» и со всякой идиллической ложью в виде подливки, это я уже знаю. И Диккенс, и Гюго тоже вертятся в кругу проблем Просвещения. Отсюда и тема, весьма для меня самой еще темная: «Просветительские традиции у Гюго». Прости, что я завела тебя в эту хаотическую толкучку без логики и выводов, но для того, чтобы была логика, а потом и степень кандидата, я буду работать. Дорогой и глубокоуважаемый, напиши скорей, что ты думаешь об этих *правильных* (?) наблюдениях и что ты с ними сделал бы. <...>

Будь другом — наставь меня. Ведь я до сих пор сохранила свой невежественный нигилизм, и меня не привлекает «Вестник Европы», хотя я честно верю, что всё, что кажется привлекательным тебе, такое и есть.

Кроме того, я во всем сомневаюсь, и часто мне кажется, что следует заниматься сейчас вовсе не развитием буржуазно-демократической идеологии, а ее кризисом и переходом в нечто противоположное, например, у Гамсуна, Гауптмана.¹⁶ Или «хождением над бездной» между гуманизмом и нищезанятием (читай по-всякому) такого, например, замечательного и знаменитого писателя, как Томас Манн.¹⁷ В целом, заниматься следует нашей такой последней стадией капитализма, у которой есть своя обязательная политическая форма, так же как она была у общества, основанного на свободной конкуренции etc. etc. Теперь мне кажутся любопытными даже такие невкусные вещи, как «Одинокое» или «Потонувший колокол» Гауптмана, потому что я вижу в них предсмертные судороги XIX века и рождение печального XX. Как этот парень в «Одиноких» старается, обидев жену и старичков, папу и маму, стать по ту сторону добра и зла, т. е. по ту сторону привычной еще от просветителей буржуазно-демократической морали. Он и сам знает, что это давно уже всего только фраза, но «привычка» не пускает стать «сверхчеловеком». Я фантазирую и, знаешь, даже в Ганьке, в его «мечте о силе» в семейно-любковых делах нахожу эти архаические потуги начала XX века. И в своих полудетских 17-летних попытках «быть злой» и «срывать маски» с установленных (которым учили) понятий добра и зла. <...>

¹ В начале октября 1942 г. Г. М. Фридлиндер обратился к своим друзьям с просьбой достать «отзывы ряда "авторитетов"» о нем «как знатоке истории рус-

ской культуры и литературы»; с их помощью он надеялся выбраться из лагеря («Трудармеец Фридлендер, Г. М.». С. 462). Кто скрывался в письме Ильинской под литерами NN, неизвестно.

² См. письмо 4 и примеч. 3.

³ Неточная цитата из романтической драмы В. Гюго (1802—1885) «Мария Тюдор» (1833). Ответ Фридлендера на это письмо Ильинской о Гюго пропал (см. письмо 9), после чего он написал ей еще раз на ту же тему; Ильинская ответила ему, развивая свои мысли о Гюго в письме 10.

⁴ Неточная цитата из романа Гюго «Девяносто третий год» (1874), относящаяся к Говэну.

⁵ Речь идет о персонажах из произведений Гюго «Девяносто третий год», «Марион Делорм» (1831), «Король забавляется» (1832).

⁶ «Предисловие к “Кромвелю”» написано в 1827 г.

⁷ «Человек — это полу-зверь, полу-ангел» — вероятнее всего, Ильинская цитирует работу Ф. Энгельса «Людвиг Фейербах и конец немецкой классической философии» (1888).

⁸ Имеется в виду сцена смерти Жана Вальжана, героя романа Гюго «Отверженные» (1861), уже «мертвеца», за спиной которого угадываются «крылья ангела».

⁹ Маркиз де Лантенак спасает из огня детей крестьянки Флешар и попадает в руки республиканцев («Девяносто третий год»).

¹⁰ Говэн гибнет под гильотиной после того, как спасает маркиза (Там же).

¹¹ Один из персонажей романа «Отверженные».

¹² Персонаж романа Гюго «Собор Парижской Богоматери» (1831).

¹³ «Повесть о двух городах» Ч. Диккенса написана в 1859 г.

¹⁴ Роман А. де Виньи «Сен-Мар, или Заговор во времена Людовика XII» (1826). Далее Ильинская дает аллюзию на его книгу «Неволя и величие солдата» (1835).

¹⁵ Роман Гюго «Бюг-Жаргаль» (1826).

¹⁶ *Гамсун Кнут* (1859—1952) — норвежский писатель; *Гауптман Герхарт* (1862—1946) — немецкий писатель, ниже упоминаются его драмы «Одинокие» (1890) и «Потонувший колокол» (1896).

¹⁷ *Манн Томас* (1875—1955) — немецкий писатель.

7. <22 ноября 1942 г. Иркутск>

Дорогой мой Принц Лапутянский, как всегда бывает хорошо после твоего письма. <...> От Яши я получила сначала свинскую телеграмму: «Жив. Здоров. Работаю. Не беспокойтесь молчанием. Писать не могу. Целую. Яша». Я сильно плакала, потому что на мой взгляд, если сейчас человек писать не пишет и не телеграфирует — значит, ты ему не нужен, и он плюет на твое беспокойство. Мне легче было представить, что он в кого-то там влюбился и не хочет говорить об этом, чем то, что он равнодушно писать «не может». В этом духе я написала ему довольно горькое письмо и попрощалась с ним. И вот несколько дней назад пришла от него гневная, истерическая открытка, довольно глупая, по правде сказать: что вот он ночи не спит «от гнева и боли, от стыда и бессилия», а я требую, чтобы он писал письма или посылал телеграммы. И что это «грязь», насчет любви etc. Может быть, и правда, грязь, а все-таки чудно, что близкий человек не пишет тебе четыре месяца, а потом обижается, что ты не хочешь с этим примириться. Бог

с ним. Хорошо, что он жив и говорит, что помнит меня. Такой уж он нелепый какой-то, так просто не очень-то любит нас всех, сам не отдавая себе в этом отчета. Какой ни есть, лишь быть бы вместе. И такой пригодится. От Изи получаю в высшей степени галантные письма, словно не с фронта войны 42-го года, а из какой-то гостиной XVIII века. Называет меня «плутовкой», и меня смех берет, когда подумаю, что это изящное наименование относится к не очень молодой женщине в платке, в рваных бурках, с десятком книг в мешке за спиной, которая прыгает в грязные вагоны на ходу и ругается весьма энергично с другими мешочницами, от которых она мало чем отличается.

<...> Я писала тебе, что у меня школьный кружок из пяти чудесных мальчиков, с которыми я занималась литературой? Если бы ты знал, какие это чудесные и удивительные мальчишки! Сегодня воскресенье, и они были у меня. Вот посмотри на них. Самый старший тоже Юра.¹ Очень он открытый и смелый. И лицо у него такое русское, красивое, розовошее, чуть-чуть застенчивое. Он то, что называется «хороший парень», с бескорыстной любознательностью и с чувством собственного достоинства. Зато второй, Алик,² — длинный, белобрысый, в огромных круглых очках, этот прямо до черта честолюбив. Может выйти из него порядочная дрянь, потому что он страшно склонен «презирать» тех, кто меньше его знает. Читал он, не только по иркутской мерке, очень много, но не так бескорыстно, как Юра. Этот любит пускать пыль в глаза и «господствовать», но пока еще тоже славных кутек. Третий — Саша,³ волевой тип, маленький, коренастый, надутый, как воробей, и крепенький, как булыжник. Глаза у него серые, ясные, в пушистых ресницах, спокойные, а рот и подбородок упрямые. Общее впечатление страшного упрямства и «твердого характера». Такой он и есть: доклады делает лучше всех и любит насмешничать. Ошибок другим не спускает, а от своих краснеет до ушей, надувается и долго молчит, если его попрекнуть за ошибку. Надоели они тебе? Ну, я еще про Вову⁴ расскажу. Про него Алик говорит презрительно: «Вова — это безобидное существо». Но, право, я редко видела более милое, доброе и скромное создание. Он самый младший, очень маленького роста, носик пуговкой. Ровненькая мягкая, круглая, совсем детская. И все-таки очень легко себе представить, каким он будет лет в 40, таким добрым папой, хорошим, маленьким, тихим человечком. Он не претендует на первое место и очень уважает Алика, который им командует. Сегодня Саша сказал: «Хитрющий этот Вова!» И все засмеялись, потому что нельзя было придумать ничего менее подходящего к этой святой простоте. Напишу о том, как мы разговариваем потом. Довольно трудное это дело. Больше всего они боятся чувствительности. Надо быть очень осторожной, чтобы они не заподозрили в тебе желание вторгнуться в их внутренний мир. Замечательно Достоевский в «Братьях Карамазовых» описал мальчишек. Это мой маленький роман, а большой, со студентами, развивается последнее время весьма бурно. Вчера обсуж-

дали стихи Симонова «Лирический дневник» (стихи «Жди меня», которые я тебе посылала как-то, оттуда).⁵ Это стихи не очень плохие и очень искренние. Девочки от них в упоении, переписывают их, знают наизусть, пожалуй, даже и плачут над ними. Мальчики занимают позицию скептическую. Эти-то стихи мы и обсуждали. Любовная лирика оказалась весьма актуальной. Пришли химики, медики и математики. Народу оказалось столько, что ораторы мои сначала сконфузились, но потом, когда выплыл из аудитории NN, дело у нас пошло такое горячее, что чуть не передрались. И всё, друг мой, этика, а вовсе не «чистое искусство». Эта женщина, которой посвящены стихи, вовсе не идеал добродетели. «Лукавая», «бесшабашная» и многоопытная. И всё он боится, что она бросит его. Вот девочки мои и устроили ей баню. Можно ли любить «такую»? И вообще о нравственности. Нравственны ли стихи о чувственной любви, очень откровенные? И что такое за штука любовь? Мой очень умный Вася Трушкин⁶ (пришел ли бы тебе по вкусу? Немного Пашка Громов,⁷ но без подлости и наивней. С настоящей страстью к поэзии. Этот деревенский мальчик сам выучил немецкий и влюблен в Гейне. Блока знает наизусть. Из презрения к схематике и догматизму чуть-чуть с декаденщиной. В прошлом году был совсем наивный дурачок, а сейчас научается немного думать о литературе. Скромно надеюсь, что здесь немного и моя заслуга. Я разговариваю с ним часами) «обозрел» советскую поэзию не слишком снисходительным взглядом и «разнес» Симонова.⁸ А потом ораторствовала я. Но самое хорошее наступило, когда химики-медики ушли и официальное заседание было закрыто. Осталось человек двадцать, и мы говорили по душам. Здесь уж не говорилось, а кричалось о том, что такое «идеальный человек» нашего времени, и о браке (шут их возьми), о достойной человека любви. Кричали мне в правое и левое ухо обе «борющиеся стороны», и каждой воззвание начиналось: «Ольга Игоревна». Я исповедовала «широкий взгляд на жизнь» в духе блоковского:

Но через край перелилась
Восторга творческого чаша,
И всё уж не мое, а наше,
И с миром укрепилась связь...⁹

Но черта напроведешь девушкам, у которых любимые герои Кирсанов и Лопухов из «Что делать?».¹⁰ Если бы ты знал, какие они «строгие юноши». С моим пьяным и амурным прошлым я себя довольно странно чувствую среди них. Провожали они меня и, когда пошли обратно, всё еще говорили. До чего же это было бы хорошо, если бы не война! Они мне верят, Юра, и скажу тебе без всякого хвастовства и с большим чувством ответственности: так случилось, что я — единственный человек в университете, который может заставить их говорить и может помочь им вылезти из тупика. А тупик есть (об этом напишу потом). Их или забивают академизмом мертвым (NN), или

оглуляют систематически. Напиши мне о диссертации и прости, что так много о моих радостях. <...>

На твою просьбу NN ответил: «Отзывы только вредят» — убежал от меня и бегал неделю.¹¹ <...> Целую, дорогой мой, родной друг. Ради бога, будь здоров. Мать моя тебе пишет.

<Приписка С. Г. Ильинской:> Лялюшка безумно занята, увлечена своей работой. Вчера пришла очень возбужденная и довольная обсуждением стихов Симонова. Всё было бы сносно, если бы только она не перегружала себя работой и спала бы ночи, а то она по большей части спит 3—4 часа и из-за этого худеет, бледнеет, личико стало как кулачок, и, кроме того, по-моему, ее беспокоит постоянное отсутствие известий от Яши, которого я иначе не называю, как бешеным котом. Целую Вас. С. Ильинская.

¹ Уваров Юрий Петрович (1928—2003) — профессор Российского университета дружбы народов, преподаватель курсов иностранного языка при МИДе, доктор филол. наук (1986), исследователь французской литературы второй половины XX в., переводчик, составитель и автор предисловий к многочисленным сборникам произведений французских писателей, выходившим в различных издательствах в 1960—1990-х гг. (психологическая повесть, семейный роман, комедия, детектив).

² Биркис Артур Петрович (1928—1997) — сотрудник Института геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН (Москва), доктор геолого-минералогических наук (1980). В письме 1946 г. Ильинская обратилась к Фридлендеру с просьбой помочь приехавшему в Ленинград Алику, назвав его имя и фамилию.

³ Саша — лицо неустановленное.

⁴ Вова — лицо неустановленное.

⁵ Имеется в виду сборник К. М. Симонова «С тобой и без тебя. Из лирического дневника» (1942). Стихотворение «Жди меня» (опубл. в «Правде» 14 янв. 1942 г.) Ильинская пересказала в письме к Фридлендеру от 10 февр. 1942 г.

⁶ Трушкин Василий Прокопьевич (1921—1996) — литературный критик и литературовед, профессор Иркутского университета, доктор филол. наук (1970). Увлеченность Трушкина Гейне и Блоком, о которой пишет Ильинская, отражена в его студенческом дневнике. После заседания кружка, где он читал наизусть стихи Блока, раскритикованные его однокурсниками как «чуждые», в нем сделана запись (10 дек. 1942 г.): «Человек, одно имя которого приводит меня в трепет, не нашел доступа к сердцам эмансипированных маменькиных дочек. Видите ли, им ближе Маргарита Алигер и какой-нибудь Симонов, нежели человек, страстно любивший Россию и тонко <...> чувствующий ритм жизни, ее страстную и жутко хватающую за душу музыку» (Трушкин В. П. Друзья мои... С. 135).

⁷ Громов Павел Петрович (1914—1982) — литературный и театальный критик, литературовед, кандидат филол. наук (1953), автор книг о Блоке и Л. Толстом. Фридлендер и его друзья были сокурсниками Громова, в университетские годы им очень близкого. Об этом ярком человеке см.: Громов П. П. Написанное и ненаписанное / Сост., подгот. текста и вступ. ст. Н. А. Таршис. М., 1994. См. письмо 23.

⁸ Ср. запись в дневнике В. П. Трушкина (5 дек. 1942 г.): «На литературном кружке делал небольшой доклад о лирике К. Симонова, заострив особое внимание на его “лирическом дневнике” “С тобой и без тебя”. <...> С этого момента меня стали считать чуть ли не знатоком поэзии» (Трушкин В. П. Друзья мои... С. 133).

⁹ Из стих. А. А. Блока «И вновь — порывы юных лет...» (1912).

¹⁰ Речь идет о героях романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?» (1863).

¹¹ См. письмо 6.

8. <31 декабря 1942 г. Иркутск>

Мой родной Лапутянин, вот и Новый год подобрался. Последние часы приходят. В прошлом году наивно думалось, что 43-й год будем встречать вместе. И вот еще больше все разбросаны: Яша вторую зиму в осажденном городе, Шуры нет, Сус сидит в самом пекле и допрашивает пленных, Изя тоже на фронте, а ты... Пожалуй, моя судьба пока самая спокойная, но не верится, что так мое непосредственное знакомство с войной и закончится московской бомбой.¹

<...> я тебе писала о моем школьном кружке и о моих чудесных четырех мальчишках. Вчера они приходили все советоваться о своих докладах. Сейчас мы занимаемся Данте. Вот это уж бесспорная польза, которую я приношу за мальчишек, кой-какие грехи на том свете мне простятся. После занятий и разговоров с ними у меня рождается необычайно приятное и радостное чувство. Без студентов и этих ребятков, да еще (не смейся) без всяких милых зверюг, которых встречаешь на улице, — удивительно кротких, работающих и добрых лошадей, мерзнувших у ворот, деловитых, голодных, но дружелюбных псов, вежливо останавливающихся и махающих хвостами, когда их окликают, — я за этот год могла возненавидеть мир, честное слово. <...> Ах, Юра, до чего страшна дикость! А она всюду. И в том, как 10-летние мальчишки ругаются страшными, грязными ругательствами, *<шесть строк залиты чернилами военного цензора>* Эх! Да ладно, лучше уж о лошадях. После того, как встретишь такую добрую скотинку с заиндевевшей мордой, с прекрасными кроткими глазами, которая стоит, переступая с копыта на копыто, помахивая хвостом, *<две строки залиты чернилами>* на душе наступает оттепель. Идешь и улыбаешься. Лошадь — вежливый зверь, также как и собака. Мужик, который бьет ее на мосту по благородной шкуре и иступленно ругает «матерными» словами, не стоит волоска ее лошадиного хвоста. Посмотреть только на его тупые, маленькие, злобные глаза. Не может быть, чтобы благостный господь бог не устроил на небе лошадиного рая с зелеными, душистыми лугами и вечным летом, с кормушками овса в тени и спокойными, неглубокими реками для лошадых ванн.

Никогда еще в жизни я не приходила в такую бессильную ярость на людей, и никогда еще всё хорошее в человеках не вызывало такого благоговейного умиления. Ты знаешь, мы со студентами осуществили наш с тобой старый замысел. У нас кружок по искусству (Азадовский называет его «беседы о живописи»), на котором мы раскладываем репродукции на большом столе, каждому я даю по 3—4 картины (пейзаж, портрет, натюрморт etc. разных стилей), и они должны мне рассказать,

чем отличается одна картина от другой по композиции, колориту, трактовке лица или ландшафта. Так они сами приходят к пониманию эволюции стилей и, главное, к определению «идеи» в живописи. До этого у нас были занятия: 1) место живописи среди других искусств и ее специфика; 2) композиция; 3) колорит и цвет; 4) жанры. Теперь мы занимаемся историей стилей и идей в искусстве. Каждое занятие, после их самостоятельных изысканий, я произношу заключительные речи со ссылками на их наблюдения и замечания. Теперь я им всем раздала по одному художнику (из разных времен), и каждый сделает 20-минутное сообщение с разбором картины этого художника. Потом — такие же рефераты на ряд важных книг по искусству: по Вельфлину, Бьерсону² etc. А потом начнется ряд занятий по Рембрандту. Причем я заставляю их отыскивать параллели в литературе, чтобы они поняли, что такое Ренессанс и другие эпохи, не только по одному искусству. Наряду с этим у нас еще литературный кружок. Я тебе писала о нем. Видишь, я страшно занята, и мне (увы) не остается времени на диссертацию. А ночью, после кружка, человека три-четыре меня провожают на вокзал (а это через весь город). Среди них Люся Черных,³ чудесная тоненькая девочка с легкими, пушистыми кудряшками во-круг лба, с меланхолическим личиком и всегда наклоненной набок головкой на тонкой шее. Глядя на эту девочку, я впервые поняла прелесть чистоты. Какая-то она вся настороженная, полная ожидания и доверчивости, словно присматривается к жизни. Совсем это не та «чистота» физического целомудрия, а что-то очень одухотворенное и человеческое. Когда я на нее смотрю, то вспоминаю запах ландыша. <...>

¹ Ильинская говорит о событии, которое предшествовало ее с матерью эвакуации из Москвы: «...ночь с 22-го на 23-е <июля> чуть не оказалась последней в моей жизни. Чудом, буквально чудом, удалось мне “сохраниться”. Перед тем как потерять сознание, я в течение одной секунды пережила свою смерть: отчетливую мысль “я умерла” и странное удивление перед этим фактом. Мать, Тамара и Рита <Лурье, сестры>, которые находились в более безопасных условиях, выбежав на улицу, увидели только клубы белой пыли на том месте, где я дежурила. <...> После этого мать два дня не отпускала меня ни на шаг, и 25-го, когда она получила командировку на работу в Иркутск, — мы уехали» (14 авг. 1941 г.).

² Вельфлин Генрих (1864—1945) — швейцарский теоретик и историк искусства; Бернсон (Беренсон) Бернард (1865—1959) — американский историк искусства и художественный критик.

³ Черных Людмила Владимировна (1921 — после 1996) — доцент Башкирского государственного университета, канд. филол. наук (1950; научный руководитель М. К. Азадовский), автор работ по проблемам литературного фольклоризма. В архиве Фридендера сохранились письма Черных к нему.

9. <31 января 1943 г. Иркутск>

Дорогой Лапутянин, теперь окончательно установила, что из всех твоих писем за месяц до меня доходит одно. Самое досадное, что в чис-

ло недошедших попало и письмо с домыслами о рара Hugo,¹ то самое, которое было мне ужасно нужно. Прошу тебя, родной, напиши мне еще несколько писем о Гюго, дублируя их. Может быть, одно и дойдет. Страшно нужны твои совета, а больше всего ты сам. Нет, конечно, я не занимаюсь диссертацией. Да и невозможно это, когда над тобой каждый день висят две-три лекции (ведь нельзя не готовиться и к тем, которые уже читал раньше, а у меня всё меняется). Скажем, эпоха Возрождения сейчас приняла в моих глазах совсем иной вид, чем в прошлом году. Сейчас читать о Шекспире без длинного путешествия в средневековую философию и в философию XVII века для меня совершенно невозможно. Раньше живопись была только механическим довеском к каждой эпохе, а сейчас я могу себе представить общий процесс развития искусства в XVI и XVII в. И живопись, Рембрандт — прежде всего, делается дополнением, предощущением того же Шекспира. Так вот и нельзя повторяться, просто невозможно, а когда повторяешь хоть частично, то грызет совесть, и кажется, что ты совершил мелкую кражу или испачкал чужое белье. Вот, например, «открытие», вероятно, только для меня, т. к. я многое должна делать без книг — их нет, о том, что Шекспир вовсе не укладывается в рамки Возрождения. Так же, как и два последних тома «Гаргантюа и Пантагрюэля».² Шекспир римских трагедий,³ «Гамлета», «Лира» etc. — это критика *ренессансного* гуманизма, его аристократической сущности. Вторая глава за Шекспиром — Рембрандт. Ну, ведь об этом в письме до конца не скажешь. Всё это только к тому, что весь план лекций о Шекспире перестраивается. А потом, кроме лекций, мне смотрят в глаза 5 или 6 десятков студентов, которые ждут от меня (в этом гордость моя и счастье) не только лекций, но гораздо большего. Они, во всяком случае очень многие из них, весь мой возлюбленный 3-й курс университета, ждут, что я им помогу понять, как жить следует и что «этично», а что «неэтично». Честное слово, друг, мне больше подходила бы должность проповедника, а я очень похожа на этакое комнатного Савонаролу,⁴ когда сижу до поезда в 9.20 в холодном кабинете университета, в темноте (электричество гаснет часто), а вокруг меня на столах и стульях много девочек и мало мальчиков, и у нас идет трогательная до слез беседа с цитатами из Блока, Пушкина и Маркса на темы: «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать».⁵ <...> Еще фигурируют тексты «надо обрабатывать свой сад»,⁶ краткие лекции о Спинозизме Гердера (от которого я без ума), о связи формы и содержания,⁷ о том, как и зачем надо читать газеты, о мещанстве, о дружбе и, увы, о любви. Без этого они не могут. И я стучу в темноте кулаком по столу и уверяю их, что наука — это их жизнь, они сами, наше сегодня, что никакой «надмирной» науки нет (NN), а Вася Трушкин, одержимый плодотворным духом противоречия, тихо, но твердо исповедует «чистую науку», ибо у них тенденциозность взята на подорожение, и заставить их понять, что правда и тенденция — вещи не обязательно взаимоисключающие, дело трудное.⁸

Кроме того, помни, что у меня теперь уже не 4, а 6 мальчиков — школьников, которые ждут меня дома. И с ними тоже надо говорить, и быть их приятелем, а это требует времени. Им надо возить книги, помогать им готовить крошечные доклады к будущему воскресенью (сейчас о Рабле) и передвигать на карте флажки: где теперь наши войска. И ведь это они вместе, а кроме того, многие существуют и отдельно, со своими осложнениями, интересами, вопросами. Вот с тем же Трушкиным часто приходится говорить о поэзии, с Люсей — о живописи и об этике, с Марией⁹ — об отношениях внутри курса etc. День набит до краев так же, как и ночь... Когда же диссертация? Я знаю, что это надо сделать, что меня могут отлучить от них, если я не защищу вовремя, но сейчас отказаться от такого близкого и дружеского общения, от литкружка и от кружка по истории живописи, от школьного кружка — просто нельзя. Ты понимаешь, в этих кружках они учатся коллективизму, они учатся духу общности, который у них отсутствовал (одни формальности, вместо реального интереса к миру, к стране, друг к другу). И это в тысячу раз важнее, чем все диссертации, которые я смогу написать в Иркутске без книг и без помощи. В то же время ужасно хочется сесть за нее и разобраться, как там обстоит дело у Гюго с просветителями и с XVIII веком, как (по правде сказать) идеалы Просвещения превращаются в либеральную фразу, потому что, как ни вертись, а дело сведется к этому в конце концов.

Так я и стою между двух кормушек. Черт знает, чем это кончится. Всеми чувствами и помыслами ощущаю, что со мной нет вас: тебя, мой мудрый Лапутянин, Яшки с его практическим тактом и чутьем, Шуриньки. Я в разбеге, Юра, хватаюсь за многие мысли и даю тебе слово, что с вашей помощью из моих догадок и в области «практической педагогики» и в истории литературы получился бы толк. Одна я не могу, у меня не хватает времени и знаний, и опыта додумывать. Мне мерещится, скажу не стыдясь, что-то вроде огромной истории гуманизма с XVI по XX век, которая должна быть одновременно и проповедью, и научной историей, а еще (скажу стыдясь) беллетристикой, нечто раблезианское, роман о всех нас и о нашем времени. Даже претенциозное заглавие лезет в голову — «Путешествие в Импозиблию»,¹⁰ и разные «главы» оттуда с Марией Ивановной Елкиной, с героиней, с реальностью и фантастикой на ренессансный манер. Я никому, кроме тебя, об этом не говорю. Потому что знаю, что это самообольщение и гордыня. Мне ли? Мне о птицах, собаках, добрых лошадях и безобидных хулиганах детского возраста и того не написать. Нет, об этом мимоходом. А вот для первого, хотя бы для половины, хотя бы для 3-й части, нужны все мы вместе. Когда выгонят эту гитлеровскую сволочь из русской земли (давай помечтаем) и мы вернемся к книгам и друг к другу, тогда будет у нас коммуна друзей, дом, большая Удельная (дача, кстати, целая, там Мария Сергеевна),¹¹ под председательством наших мам (бог даст), и мы будем собираться вместе по вечерам, чтобы спорить, чтобы

обдумывать, чтобы читать то, что сделано. И какое счастье, что история будет идти да идти дальше и что за нами придут новые люди, которым мы передадим незавершенное (завершить нельзя; грош цена, что завершается в пределах одной жизни), но честно начатое дело. Ради бога, или ради этого, держись бодрей и береги себя. А пока ведь всё стало лучше. Кольцо вокруг Ленинграда прорвано, и наши войска идут на запад. Это не конец, но конец ближе и очевидней. И у тебя лучше. Как хорошо, что Анжель Морисовна живет у Яшки!¹² Там и тепло, и светло, и не одна она. Видишь, Яшка-то все-таки ничего себе, мой Яшка. Он и письма теперь даже пишет. Вот он какой. <...>

¹ Речь идет об ответном письме Фридлендера на письмо 6 (о Юго).

² Сатирический роман Ф. Рабле (1494–1553) «Гаргантюа и Пантагрюэль».

³ «Римские трагедии» В. Шекспира (1564–1616) «Тит Андроник», «Юлий Цезарь», «Антоний и Клеопатра».

⁴ *Савонарола Джироламо* (1452–1498) — знаменитый итальянский проповедник.

⁵ Из стих. «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит...» (1834) Пушкина.

⁶ Заключительные слова повести «Кандид, или Оптимизм» (1759) Вольтера (1694–1778).

⁷ *Гердер Иоганн Готфрид* (1744–1803) — немецкий философ, писатель-просветитель. Учение *Бенедикта Спинозы* (1632–1677) было Гердером творчески переработано как не противоречащее христианству в «Идеях к философии истории человечества» (1780 — нач. 1790-х); приверженность учению этого философа он выразил в работе «Бог. Несколько разговоров» (1787).

⁸ Ср. запись в студенческом дневнике Трушкина (28 дек. 1942 г.): «...у меня был довольно жаркий спор с О. И. Ильинской. Я утверждал и отстаивал, что можно учиться некоторым приемам творчества у художника, если даже содержание его музыки и неприемлемо для нас. Мой же “противник”, наоборот, полагает, что если содержание художника нам чуждо, то чужда и неприемлема для нас его форма, элементы этой формы и, следовательно, нам нечему у него учиться» (*Трушкин В. П. Друзья мои...* С. 135).

⁹ *Мария* — лицо неуставленное.

¹⁰ *Импосибля* — от impossible (невозможный, невероятный, фр.); замысел Ильинской не был осуществлен.

¹¹ В приписке С. Г. Ильинской на письме от 28 апр. 1942 г. упоминалось об этом эпизоде конца 1930-х гг.: «О нашей жизни в Удельной (пригород Ленинграда. — С. Б.) на нашем крохотном участке вспоминаю как о рае». *Мария Сергеевна* — лицо неуставленное.

¹² Зимой 1942–1943 г. Я. Л. Бабушкин сумел устроить А. М. Фридлендер (1886–1956), мать Георгия Михайловича, машинисткой в ленинградский Дом радио. Здесь же она поселилась в общежитии, что избавило ее от непосильных бытовых забот блокадного города: в Доме радио было автономное энергоснабжение, работали водопровод и канализация, помещения отапливались. В Доме радио А. М. Фридлендер получала и питание по карточкам (Яша сумел обеспечить ей 1-ю (рабочую) категорию), и покупала продукты по коммерческим ценам. В письмах к сыну А. М. Фридлендер отзывалась с похвалой о столовой Дома радио, считая свое питание достаточным. В апреле 1943 г. она оттуда уволилась, поскольку ей было трудно жить в общежитии, к тому же положение Бабушкина пошатнулось, и ее перевели на карточки 2-й (служащей) категории.

10. <2 мая 1943 г. Иркутск>

Дорогой мой Принц Лапутянский, я тебе очень давно не писала. Стало почему-то очень трудно писать. Может быть, потому что умучена делами, и они поглощают меня целиком, так что на письмо и мысли, выходящие за пределы «завтра», не хватает сил и времени, а может быть, потому еще, что нет таких ярких минут, такого отчетливого сознания роста и творческого общения с миром, как бывало зимой. Живу изо дня в день и радуюсь только моим дорогим мальчикам: растут и обращаются теперь с гуманизмом и Возрождением, Раблэ, Ронсаром, Ариосто и Бен Джонсоном,¹ как с своей собственностью. Я было написала тебе ответ на твое письмо о Гюго, но забраковала этот ответ.² Сейчас могу написать об этом только несколько слов, т. к. времени нет и голова не работает.

Основное положение — романтизм является не только критикой, но и эстетизацией буржуазных отношений — очень банальное. Оно подтверждается и историей немецкого романтизма, особенно иенцев. «Урбанизм» Фридриха Шлегеля,³ мечты о слиянии с абсолютом, система молодого Шеллинга⁴ — всё это «рациональное зерно» буржуазного общества, развитие мировых связей, овладение природой, величественная картина «чистого» прогресса без всякой грязной изнанки, без всякой «эмпирии». Эмпирия — в антифилистерских сказках и драмах Тика, в его страшных новеллах.⁵ У Гофмана «золотой век», «мировая душа», всемирная гармония голо и грубовато противопоставлены «эмпирии» буржуазных отношений, будничная фантастика светлой Атлантиды из «Золотого горшка».⁶ Догадки о связи этих двух начал, «злого» и «доброго», у него всегда туманны, но всё же есть. Прозаический архивариус Линдгорст в то же время король Саламандр etc. Это общее положение распространяется и на Гюго, но оно слишком общо для того, чтобы им можно было объяснить специфику Гюго. Ведь и для того, чтобы понять, откуда взялась такая сказочная и блаженная Атлантида Гофмана, надо пошарить в немецкой действительности и в немецкой общественной и художественной истории. Без иенцев здесь не обойдешься. То же и с Гюго. Ты поясняешь происхождение этого антитезного стиля и самое абстрактное содержание его антитез. Но ведь у них вполне конкретное содержание — родовое, общечеловеческое — всегда противопоставляется историческому, социальному, профессиональному, и при этом исторически конкретное всегда оказывается «злым», а «вечное» — «добрым». Я тебе об этом уже писала. На такой антитезе построены все романы, в частности «Отверженные» и «93 год», вся, очень важная для Гюго, теория двух путей к идеалу. Всё то, что ты говоришь о Гюго в целом, постольку поскольку он романтик, верно, но нужна большая работа для того, чтобы разобраться в своеобразии оного, в его героике etc. Вот ты говоришь: «никаких непосредственных традиций Просвещения». Но связи эти эмпирически очевид-

ны. Ты знаешь, что предисловие к «Кромвелю» наполовину переписано у Мерсье?⁷ Ты думал о том, что при всем «новаторстве» Гюго ситуации его драм до поразительности традиционны во Франции? Борьба долга и чувства, гражданственного и личного, но у него произошла переоценка ценностей, и *героями* оказываются матери, любовницы, друзья etc. Я не собираюсь рассматривать Гюго с точки зрения «истории идей», но я думаю, что идеи XVIII века, вернее, те моменты действительности, которые их породили, продолжают существовать, развиваться, принимая другую форму, и в XIX веке. Я думаю, что Гюго, сталкиваясь с этими противоречиями действительности (которые угадывали просветители, и потому они как-то пытались преодолеть), не мог не обратиться к теоретическому наследию Просвещения. <...>

От Яши ничего нет с середины марта, 24 марта в Ленинграде шел небывалый «дождь».⁸ Я страшно беспокоюсь. Временами просто убеждаюсь в том, что Яшки нет на свете. Ради бога, скорей напиши мне, с каких пор ты не получаешь писем от мамы. Ведь судьба их теперь связана. Посылала телеграммы, даже на имя директора, посылала письма Анжель Морисовне⁹ — ничего. Одна надежда: телеграммы не возвращаются, хотя среди них были и с оплаченным ответом. Надежда слабая, т. к. на почте беспорядок. Если, бог даст, Яшка окажется всё же жив, если он опять не пишет по небрежности, то, кажется, это будет уже в последний раз. Больше не могу я прощать и терпеть.

<...> Да, со мной произошло чудо! Я написала два стихотворения после 10-летнего перерыва,¹⁰ и одно из них, пожалуй, хорошее. Называется оно «Роман Розы». Это большое событие в моей жизни, подумай, я писала его и плакала от радости, что снят, наконец, этот непонятный «обет молчания», который наложил на меня мой, живущий самостоятельной и не ясной для меня жизнью, нелогичный, упрямый и причудливый дух. Я никогда не говорила тебе, чем были для меня стихи в юности. Неужели это вернется? Послать тебе, к сожалению, эту штуку не могу. Уж очень она «злободневна». <...>

¹ *Ронсар Пьер де* (1524–1585) — французский поэт; *Ариосто Лудовико* (1474–1533) — итальянский поэт и драматург; *Джонсон Бен* (1572–1637) — английский поэт и драматург.

² Речь идет о предполагаемой теме диссертации Ильинской по творчеству Гюго — см. письма 6 и 9 и примеч. к ним.

³ *Иенцы*, иенская школа — кружок литераторов и мыслителей, группировавшихся вокруг братьев Шлегелей в университетском городе Иене в 1798–1802 гг. («классический период» не только иенского, но и всего романтизма). *Шлегель Фридрих* (1772–1829) — немецкий писатель, поэт, критик, философ.

⁴ *Шеллинг Фридрих* (1775–1854) — немецкий философ, близкий иенским романтикам.

⁵ *Тик Людвиг* (1773–1853) — немецкий поэт, писатель, драматург, член иенского кружка романтиков.

⁶ *Гофман Эрнст Теодор Амадей* (1776–1822) — немецкий писатель-романтик. В письме речь идет о сказке Гофмана «Золотой горшок» (1814), ее герою архивари-

усе Линдгорсте и «светлой Атлантиде», в которой другой герой сказки, Ансельм, находит блаженство.

⁷ Мерсье Луи-Себастьян (1740—1814) — французский писатель и драматург. О сходстве некоторых идей «Предисловия к “Кромвелю”» Гюго (1827) и трактата Мерсье «Новый опыт о драматическом искусстве» (1773) писал М. Н. Розанов, в частности, в книге «Поэт периода “бурных стремлений” Якоб Ленц» (М., 1901. С. 161—162).

⁸ Об обстрелах и бомбежках Ленинграда 24 марта 1943 г., помешавших первому после эвакуации спектаклю Большого драматического театра, писали во всех газетах.

⁹ См. письмо 9, примеч. 12.

¹⁰ Ильинская в юности писала прекрасные стихи, которые, как полагал С. П. Раевский, должны были поставить ее в один ряд с Цветаевой и Ахматовой, но талант свой она «зарыла в землю» (Раевский С. П. Пять веков Раевских. С. 324).

11. <25 мая 1943 г. Иркутск>

Дорогой мой Лапутянин, получила твою телеграмму. Спасибо. От Яшки было письмо без даты, очень старое. <...> О ленинградском радиокомитете была статья Фадеева в «Литературе и искусстве» от 1 мая.¹ Очень возвышенная и неприятная статья. Яшка там фигурирует в качестве «застенчивого юноши» с умными глазами, объясняется в братской любви прославляемой всеми ленинградцами поэтессе Ольге Берггольц и рассказывает о том, как в страшную зиму 42-го года он набирал оркестр для радио. После этой, хотя и скверной, но все же дающей представление об их жизни статьи стало еще трудней ему писать. Столько пережили мы отдельно друг от друга, и теперь нам трудно столкнуться, как людям с разных планет. Печальны все попытки найти в письмах общий язык. Я ему одно, а он мне совсем другое на свой героический военный ленинградский лад. И все-таки я его, этого замученного, злого, твердокаменного Яшку, очень люблю и боюсь за него. <...>

Получила за несколько последних дней три известия о смерти родственников. Умерла моя тетя Варя — последняя связь с папиным, старым, толстовско-тургеневско-пушкинским миром, с моими «предками».² Очень я ценила ее цыганскую, романтическую и ребячливую душу, а сейчас всё высохло в сердце, и почти даже плакать не могла и вспоминаю о ней мало, словно все лодки в прошлое сожжены. Умер в апреле Сергей Львович, Ганькин отец.³ Расстрелян немцами в Гжатске мой дядюшка, некий дядя Саша,⁴ дорогой мне по воспоминаниям детства. Он был агрономом, человеком народовольческой закалки, неудачником с судьбой, подобной папиной судьбе. Не из таких он был, чтобы сносить унижения и издевательства. За то, наверное, и прикончили. Это последнее по времени известие. От этого, наверное, и таскаю сегодня с собой целый день его образ: сутулую, высокую фигуру, смуглое тонкое лицо с пенснэ, вздетым на узкую переносицу, седые, совсем

белые волосы. Что-то было в нем беспомощно-интеллигентское и в то же время достойное. На него смотрели на улицах. <...>

Читал ли ты газеты от 22 мая и постановление ИК Коминтерна, подписанное Димитровым, Эрколи и Долорес Ибаррури?⁵ Этого можно было ждать, это не ошибка и не еще что-нибудь в этом роде, а всего только констатация факта, констатация необходимого. Вот в этом-то и печальная суть сего постановления. Да, да, да, такие вещи неожиданны. И все-таки ходишь ошарашенный, и убегает почва из-под ног в ожидании будущих подарков истории. Дорого бы я дала, чтобы 22-го сего месяца забраться в голову моего уважаемого Яшки и посмотреть, что там делается. Впрочем, он человек практический и лучше меня понимает, что так надо, единственно возможно и правильно при данных обстоятельствах. Я тоже понимаю, но душа горит, и не приемлет, и просится в Дон Кихоты. <...>

Я научилась читать (по-немецки — С. Б.) и читаю Гельдерлина.⁶ (Томик его сочинений лежит в меня на столе, вместе с Новалисом⁷ и «Зеленым Генрихом».)⁸ Я очень уважаю этого человека, но его судьба мало меня прельщает. Ведь если нам, друзьям, придется идти его дорожкой, мы и песен таких сложить не сумеем. Прозаичней всё у нас и сложнее. Не может остаться даже и лоскутка от туманного мистифицирующего покрова, в который был укутан мир Гельдерлина. Просто переквалифицируемся из «граждан вселенной» в домашнюю скотинку. <...>

Ты спрашивал: что в литературе делается? В нашей: лирика стала куда вразумительней. Написал хороший сборник стихов Симонов («С тобой и без тебя».)⁹ Тебе, наверное, не понравится. Очень не классично и откровенно. Так и выворачивается человек наизнанку. А мне все-таки нравится и дисгармоническое варварство, несмотря даже на частую безвкусицу. <...> Вот еще есть эта Ольга Берггольц, ленинградская.¹⁰ Я читала мало ее стихов, но ленинградцам особенно она очень нравится. О городе и зиме 42-го года стихи. В газетах печатались отрывки из романа Шолохова «Они сражались за Родину».¹¹ Хорошие отрывки об отступлении, но что это будет в целом — шут знает. О советской литературе мне больше ничего хорошего неизвестно.

В «Интернациональной литературе»¹² были интересные вещи, но интересные, скорей, как документы. Например, «Тысячи падут» Ганса Габе.¹³ Этот человек — эмигрант из Австрии, добровольцем воевал во Франции, был свидетелем ее поражения, а потом попал в немецкий концлагерь, откуда бежал в Америку. В той же «Интернациональной литературе» Андрэ Симон — «Люди Европы».¹⁴ Андрэ Симон — очень осведомленный журналист, кажется, дипломат по профессии. Эта книга — памфлеты весьма острые на деятелей государственной оси. Еще зачитываются романом англичанина Гринвуда «Мистер Бантинг в дни мира и в дни войны».¹⁵ Одна из сотен книг о «маленьком человеке», английском обывателе, который во время бомбардировок Лондона

скромно и незаметно для себя (уж обязательно скромно) оказывается героем. На мой взгляд, книга скверноватая, героизирующая до ужаса прочное и «добропорядочное» чувство собственности, проникнутая специально-островной ограниченностью и самомнением. Когда читаешь эту книгу, то хорошо понимаешь, что в Англии не пахло революцией уже 300 лет, и, может быть, подобный срок, столь же мирный, впереди. Вообще ничего хорошего в этих «маленьких человеках» не вижу. Сентиментальное умиление перед ними — коленопреклонение различных наций перед своей собственной слабостью и ограниченностью. Больше, друг мой, по моей занятости и лени, ничего о литературе не знаю. Да, Бехер стал совсем хорошим поэтом. Ты читал его сонеты?¹⁶ А сейчас вышла книжонка «Deutschland ruft»^{*} очень порядочная. Я могла бы прислать тебе несколько стихов оттуда, да «стесняюсь» писать тебе на этом языке. С ним сижу сама каждый день, или ночь, и читаю теперь вполне порядочно. Поэзия замечательная, даже поэты 2-го ранга, вроде Эйхендорфа и Brentano. И какой чудесный, уютный поэт Шамиссо!¹⁷ Могу прислать тебе и эти стихи, если можно и хочешь. Французов как-то сейчас забросила. Если удастся живой вылезти отсюда, займусь языками. Оказывается, они не трудно мне даются. <...> Лучшая книга, которую я прочла из сравнительно новых, — Роже Мартен Дю Гар «Семья Тибо»¹⁸. Выслала бы ее тебе, да достать ее нельзя. Больше читаю старое, особенно Диккенса. Помнишь ты «Большие ожидания»?¹⁹

Кажется, Азадовский собирается уезжать.²⁰ <...> Пиши почаще Изе. Если бы ты знал, какое счастливое письмо он прислал о том, что ты его помнишь и любишь. Вообще он ужасно нежен в письмах, прямо как голубка, и трогателен. Я ему завидую. У меня на такую душевную теплоту не хватает сейчас ни времени, ни сил. Сус совсем стала героем. Боюсь за нее с этим героизмом. Кажется, теперь она выполняет весьма опасные поручения, не только как переводчик. Она мне писала любопытные письма о литературе, которую ей удастся читать, о литературе, взятой у пленных. <...>

У нас ветер, ветер, ветер. Яблони цветут, а ветер их рвет, дергает, колышет, так что за них холодно. Здесь весна, значит, ветер. <...>

¹ Очерк А. А. Фадеева (1901–1956) «Шестая симфония», напечатанный в газете «Литература и искусство» (1943. 1 мая), в расширенном виде («Хорош блиндаж, жаль, что седьмой этаж») вошел в его книгу «Ленинград в дни блокады (из дневника)» (М., 1944). В очерке представлено несколько молодых сотрудников Ленинградского радиокомитета на вечеринке у Ольги Берггольц 1 мая 1942 г.; один из них под именем Яша — это «бледный, застенчивый юноша с умными карими глазами», его старую записку зачитывает Берггольц: «Оля! Я достал тебе кусок хлеба и еще достану. Я тебя так люблю»; он же рассказывает о своей работе с оркестрантами и о том, как их, исхудавших, вытаскивал «из темных квартир» в первую блокадную зиму (Там же. С. 38–41).

^{*} Германия зовет (нем.).

² Бакунина Варвара Николаевна, урожд. Арсеньева (1878—1943) — двоюродная сестра отца Ильинской, жена М. Н. Бакунина, племянника Бакунина-анархиста. По воспоминаниям Н. А. Антошиной (Врангель-Левицкой), родственницы Ильинской, она обладала «яркой, немного цыганской наружностью, с темными пушистыми волосами, с большими серьгами в виде колец и бусами на шее» (Наше наследие. 2009. № 91/92. С. 65). Свое родство с «тургеневским миром» Ильинская числила по сестре В. Н. Бакуниной *Софье Николаевне Кампиони* (род. 1868), по первому мужу Тургеневой. Самым отдаленным было, по-видимому, ее родство (если оно вообще существовало) с «толстовско-пушкинским миром» — по линии матери отца, через Левицких (знакомых с Л. Н. Толстым) и Бакуниных (важное место в этой «пушкинской» линии для Ильинской занимал, по-видимому, Александр Павлович Бакунин (1799—1862), учившийся вместе с Пушкиным в Лицее).

³ См. примеч. 32 к воспоминаниям Фридлендера «Ляля Ильинская».

⁴ *Левицкий Александр Павлович* (1873—1942) — агроном и почвовед, заведующий опытным делом Московского губернского земства, почетный секретарь Московского общества сельского хозяйства. После 1917 г. член Всероссийского комитета помощи голодающим Поволжья, по делу которого был арестован в 1921 г.; в 1924—1928 гг. зам. директора Научно-исследовательского института по удобрениям (ныне НИИУИФ), сотрудник Государственного института опытной агрономии. В 1930 г. выслан в Казахстан, после 1934 г. работал агрономом в Ярославской и Смоленской областях. См.: Почвоведение. 2000. № 3. С. 391—394 (статья В. В. Добровольского и И. В. Якушевской). «Дядя Саша» был двоюродным братом отца Ильинской. Об обстоятельствах его расстрела немцами (взял на себя вину мальчишки, принесшего домой пули) см. в воспоминаниях Н. А. Антошиной (Врангель-Левицкой): Наше наследие. 2009. № 91/92. С. 77. *Гжатск* — ныне Гагарин.

⁵ Речь идет о постановлении Президиума Исполнительного комитета Коммунистического интернационала о роспуске Коминтерна от 15 мая 1943 г., напечатанном в «Правде» 22 мая 1943 г. Под ним стояли подписи двенадцати членов Президиума, из числа которых Ильинская называет болгарского коммуниста *Георги Димитрова* (1882—1949), генерального секретаря исполкома Коминтерна, и *Пальмиро Тольятти* (псевд. Эрколи; 1893—1964), представителя Итальянской коммунистической партии; к ним присоединились еще четверо видных коммунистов, в том числе *Долорес Ибаррури* (1895—1989), генеральный секретарь Коммунистической партии Испании. Роспуск Коминтерна объяснялся тем, что он стал помехой для национальных рабочих партий. Для Ильинской, Бабушкина и Фридлендера это было колоссальное сужение мировоззренческого кругозора, переводящее их, как она пишет далее, из «"граждан вселенной"» (античный философский термин. — С. Б.) в домашнюю скотинку».

⁶ *Гельдерлин Фридрих* (1770—1843) — немецкий поэт. Ильинская намекает на погруженность его поэзии во внутренний душевный мир, окутанный религиозно-философским «покрывом», и трагическую судьбу (раннее безумие). Мысль о нем Ильинской конкретизирована в письме 13.

⁷ *Новалис* (наст. имя: бар. Ф. фон Герденберг; 1772—1801) — немецкий поэт, философ.

⁸ Роман Готфрида Келлера (1819—1890) «Зеленый Генрих» (1855).

⁹ Книга К. М. Симонова «С тобой и без тебя» вышла в 1942 г. См. письмо 7, примеч. 5.

¹⁰ В 1942 г. вышли две поэтические книги О. Ф. Берггольц (1910—1975) «Ленинградская поэма» и «Ленинградская тетрадь».

¹¹ В мае 1943 г. в «Правде» и «Красной звезде» началась публикация глав из романа М. А. Шолохова (1905—1984) «Они сражались за Родину» (1942—1969).

¹² «Интернациональная литература» — название журнала в 1933—1943 г.; с 1955 г. — «Иностранная литература».

¹³ Роман журналиста *Ганса Габера* (наст. имя: И. Бекесси; 1911—1977) «Тысячи падут» (1941) печатался в 1942 г. (пер. с англ.). Сведения об авторе Ильинская приводит по предисловию П. Борисова (Интернациональная литература. 1942. № 5. С. 13—16).

¹⁴ Главы из книги *Андре Симона* (наст. имя: Отто Кац; 1895—1952) «Люди Европы» печатались в журнале в 1942 г.; публикацию сопровождала статья Б. Л. Сучкова (Там же. № 7. С. 121—122).

¹⁵ Роман английского писателя *Роберта Гринвуда* (1897—1981) «Мистер Бантинг в дни мира и войны» (1940—1941) печатался в том же журнале в 1942 г. (№ 8—10), в 1943 г. был выпущен отдельным изданием в Москве и Магадане.

¹⁶ Цикл сонетов (1935—1939), посвященный великим деятелям немецкой и мировой культуры, вошел в книгу немецкого коммуниста, поэта и прозаика *Йоганнеса Роберта Бехера* (1891—1958) «Gewißheit des Sieges und Sicht auf große Tage» (1939). Книга «Deutschland ruft», упоминаемая ниже, вышла в 1942 г.; обе книги Бехера были выпущены в Москве.

¹⁷ *Эйхендорф Йозеф фон* (1788—1857), *Брентано Клеменс* (1778—1842), *Шамиссо Адельберт фон* (1781—1838) — немецкие поэты-романтики.

¹⁸ *Роже Мартен дю Гар* (1881—1958) — французский писатель, получивший Нобелевскую премию 1937 г. за роман «Семья Тибо» (1922—1929, 1936, 1940).

¹⁹ Роман английского писателя Ч. Диккенса «Большие ожидания» (1861).

²⁰ М. К. Азадовский уехал из Иркутска в 1945 г. Восторженные воспоминания о лекционных курсах Азадовского и, шире, общении с ним в Иркутске оставили В. П. Трушкин, Л. В. Черных и др. (Воспоминания о М. К. Азадовском. С. 87—90, 90—99, 120—122). Его работа со студентами была активной и плодотворной: организация кружков, привлечение к участию в научных конференциях и заседаниях Географического общества. Ильинская высоко ценила Азадовского как тончайшего «знатока многих поэтов, природы стиха» (Там же. С. 98).

12. <22 июня 1943 г. Иркутск>

Дорогой мой! Ты очень давно не пишешь, и я боюсь, что что-нибудь случилось с тобой или с Анжелль Морисовной. От Яшки за это время получила только одну телеграмму: «Здоров. Работаю на новой работе».¹ Даже адреса нет, так что я и написать ему не могу. По невнятным письмам Коли Виноградова можно догадаться, что у Яши были какие-то неприятности в связи с его экспериментаторской деятельностью в радио, и он сам захотел уйти. Но Колька не мастер изъясняться, да и не знает он всего этого толком.² <...> он видит Яшу очень редко.

Я закончила год сносно. Вчера и сегодня на II и III курсах университета получила по букету белых удивительных пионов и порцию аплодисментов. Мои милые взрослые (в отличие от маленьких, от школьников) трогательно провожали меня домой сомкнутым строем и собираются приехать ко мне на природу читать стихи — Блока, Пастернака и отчасти Гейне, которым увлекаются знающие язык и который читается в подлиннике. Я уже писала тебе, что научилась кое-как разбираться и читаю довольно много, хотя часто приходится ворошить словарь. Это важное дело сделано. Еще одно окно в мир открыто.

Два дня шла по улице, как святая дева-дароносица. Все улыбались мне, вернее, моим букетам. Ужасно это хорошо, что самые запыленные, усталые люди начинают улыбаться, когда видят цветы. И вот теперь в нашей узенькой комнате поселились огромные, белые, с желтой сердцевинкой цветы (здесь нет махровых пионов. Они белоснежные, раскрытые, похожие на водяные лилии или магнолию, а когда полукрыты, то на яйцо. Не иначе, это яйцо Леды, из которого должны вылупиться боженята). Там еще есть сирень, и розовые цветочки-сердечки, повисшие на гибких стебельках, и колокольчики розовые и лиловые. Я работаю, а они тихонько дышат вокруг, добрые, нежные, как всё милое в жизни, такие красивые, что делается больно и хочется плакать. А сейчас мне принесли «понюхать» два розовых восковых цветочка с торжественным именем «вулькамелия». Они пахнут театром, нарядными дамами, комфортом, всякой бывшей когда-то всячиной. А в субботу у меня и был театр, но пах он скверновато — луком и еще одной вонючей травой, которую здесь едят. Но видела я единственную веселую оперу на свете — «Севильского цирюльника», с замечательной Розиной — Бем, киевской певицей.³ Здесь оперный киевский театр с очень хорошим оркестром, театр, который не посрамил бы и Ленинграда. Так давно не слышала музыки, что прямо сердце радовалось. Когда слушала оперу, то думала, что «латинское чувство формы» — не выдумка. Вот цветы, опера, английский фильм «Леди Гамильтон»,⁴ о котором я тебе еще напишу, прогулка с мальчишками на реку Иркут, где луга в цветах, кусты черемухи и ольхи, белые песчаные плесы и голубые лесистые горы вдали, — всё важное, что произошло со мной.

Пишу работку, которая мне нравится, о звериных романах Киплинга и Дж. Лондона,⁵ читаю курс заочникам, упиваюсь лирикой Гете. Как ты не заставил меня заниматься языком, читая мне и переводя эти стихи? Что я знала о Гете? Разве можно его перевести? А ведь его лирика — это, конечно, лучшее, что есть в мировой поэзии, волшебство простоты, что-то совершенно непостижимое. И всё — от ранних простых песенок, вроде «Mailied», до поздних стихов, тоже простых и премудрых, как «Grabschrift».⁶ Никто из хороших даже французов не стоит и ногтя этого старика. <...> Целую тебя, мой всегда любимый, самый близкий и родной друг. Пиши.

¹ Я. Л. Бабушкин был уволен из Радиокomiteта 16 апр. 1943 г. Поработав некоторое время на одном из ленинградских заводов, он был призван в армию и с середины лета 1943 г. учился в какой-то военной школе, откуда был выпущен сержантом (политрук). Погиб при освобождении Кингисеппа в янв. 1944 г.

² *Коля Виноградов* — муж А. С. Стрелиной. О. И. Ильинскую очень волновала история с увольнением Яши, который в тот момент был главой музыкальной дирекции Ленинградского радиокomiteта. Обстоятельства увольнения Бабушкина до конца не прояснены. Ленинградский радиокomiteт, который сильно пострадал от репрессий 1937—1938 гг., выживших из состава его сотрудников каждого десятого, находился под особым контролем обкома и сформированной им политредакции

(Деревянко С. С. Документы по личному составу Ленинградского радиокомитета (1930—1940-е гг.) // Вспомогательные исторические дисциплины. СПб., 1993. Т. 24. С. 92). В радиокомитет Я. Л. Бабушкин поступил в 1938 г., к тому времени будучи уже членом ВКП(б). По-видимому, в его работе были какие-то промахи, которым предшествовало ухудшение отношений с руководством и частью коллектива. 15 дек. 1943 г., в своем последнем письме к Фридлендеру, Бабушкин писал: «В моей судьбе нет ничего исключительного. Несмотря на наличие определенных принципиального характера причин, создавших и углубивших разногласия с руководством вплоть до снятия, я не переоцениваю их значение. <...> Верю, что у меня будет еще возможность это исправить, вернее, учесть. Что касается той людской мелкоты, которая в глупости, неразборчивости и зависти спутала меня по рукам и ногам и сбивала с последней и настоящей работы, то в ее лице я вижу всё ту же столь ненавистную мне и, к сожалению не единственную, деловую никчемность, необразованную беспринципность, неумение распознавать людей по их делам и неумение служить советской власти и народу там, куда они их поставили для руководства. И я укрепляюсь в своей ненависти к этим качествам. Ничего, ничего! Придет время, отрастут рога и у бодливой коровы...» См. также письмо 20.

³ Киевский театр оперы и балета находился в Иркутске с 1942 г., его оперной примой была *Мария Петровна Бем* (1906—1978), народная артистка УССР (1946).

⁴ Английский фильм «Леди Гамильтон» (1941) шел в советском прокате с марта 1943 г. В письмах к Фридлендеру Ильинская больше не упоминала о нем.

⁵ 2 марта 1946 г. Ильинская сообщила Фридлендеру о скорой публикации в сокращенном виде своей статьи «Современный анималистический роман» (обнаружить ее в печати не удалось).

⁶ Ильинская называет стихотворения *И.-В. Геме* (1739—1842) «Mailied» (1774; «Майская песня») и «Grabschrift» (1827; «Надгробная надпись»).

13. <6 сентября 1943 г. Иркутск>

Дорогой мой, милый друг, теперь я действительно очень перед тобой виновата, так виновата, что и оправдаться нельзя. Месяца два я не писала буквально никому. <...> Причины, а не оправдания такого безобразного поведения — то ли переутомление и болезни, то ли, и это вернее, обычный обломовский néant,* подлое состояние безразличия, скуки, отращения к себе самой, к привычным мыслям, чувствам, к работе. Всё это — роскошь во время войны недопустимая, и я со стыдом все два месяца сознавала, что я безобразничаю и пускаю время под горку. Думаю, что этот запой — результат иркутской жизни, бесконечных, мелочных, гнусных ссор с нашим домашним драконом¹ и отсутствия действительных, взрослых людей, которые как-то стимулировали бы мысль и с которыми можно было бы общаться как с равными. Надо уезжать. Мать измучена домашней обстановкой, которую мы, наконец, переменили. <...> Теперь мы живем в большой семье, пять детей и одна мать, которая тянет их через голодную жизнь.² И мать и дети кажутся святыми после дракона, жить должно быть легче, но от драконьих сплетен и почти двухлетней злобы и раздражения сам зармарался и озверел.

* ничтожество (*фр.*).

О друзьях кое-что знаю. Яшка, должно быть, в армии, судя по его адресу. Из писем его трудно понять и то, как он туда попал, и то, находится ли он там до сих пор. Его адрес был ПП 86612 Б. Изя пишет чаще всех сентиментальные, розовые письма и даже прислал фотографию. На фотографии он орел, с царственным взглядом и капитанскими признаками, а письма его мне очень не по нраву. Какие-то сюсюкающие, словно к ребеночку писанные. Это только меня он так радует или всегда так писал? Сус после серьезных переделок на отдыхе. Она представлена к награде и, может быть, поедет награждаться в Москву. <...> Дела наши с возвращением довольно паскудны. Дом наш отремонтирован военкоматом, и в нашей квартире живет генерал. Должны были дать жилплощадь, но т. к. заниматься этим вопросом некому, а Марина³ не то влюблена, не то очень занята, то, может быть, и не дадут. Есть надежда на помощь Ганьки,⁴ который вызван в Москву и может перетащить меня туда при помощи всяких матримониальных сделок. <...>

Уныло. Ты писал как-то, что ничего не переменялось. В моих глазах, решительно переменялось, и по-старому panser* уже не годится, если не желаешь оказаться в гораздо более трагическом и даже непростительном положении, чем Гельдерлин и Стендаль.⁵ Несмотря на все трудности, мы были счастливым поколением, любимчиками истории. У мальчиков и девочек из разделенных школ⁶ не будет и наших солнечных вершин. Довольно. Желаю тебе и всем нам скорого конца войны, а он, кажется, близок. Это, во всяком случае, замечательно хорошо. Целую тебя.

¹ Имеется в виду хозяйка на старой квартире Ильинских.

² Ильинские переехали в дом матери Юры Уварова (см. письмо 7, примеч. 1).

³ *Марина* — *Мария Алексеевна Глебова*, урожд. *Левицкая* (1918–1981), в тот момент студентка театрального училища, с 1948 жена народного артиста СССР П. П. Глебова, троюродная сестра Ильинской.

⁴ Ильинская говорит о возможности оформления вызова в Москву (без него приезд туда был невозможен) с помощью Г. С. Стрелина.

⁵ *Гельдерлин* — см. письмо 11, примеч. 6. Суть сопоставления судеб Гельдерлина и Стендаля в письме Ильинской заключается в бедственном положении их психики: болезни того и другого были разными (и по характеру, и по силе), но в обоих случаях связаны с особой, страстной любовью к искусству.

⁶ Раздельное обучение мальчиков и девочек в школах было введено в 1943 г.

14. <3 ноября 1943 г. Иркутск>

Дорогой мой! Ты не ответил уже на три моих письма, и я просто не знаю, что делать. Ради бога, напиши или телеграфируй. <...> В Москве была Сус. Пыталась перетащить своих родителей, но соседи слизнули у них квартиру на время войны, и возвращаться некуда. Наши вопли (т. е. письма и заявления) в Москву тоже пока остаются бесплодными,

* залечивать (*фр.*).

а я сейчас даже на зиму в Иркутске смотрю с ужасом, как в темный погреб. Братец мой милый, только бы ты остался цел и здоров! А то и никаких личных надежд не будет в послевоенной жизни. Ужасно пусто и мерзко на душе. Всё я за Иркутск растратила, даже память о Яшке. Только тебя и помню из всех.

Якова послали в какое-то училище, которое он должен скоро кончить.¹ Не верю в его «счастливую рубашку», жду от будущего крупной мерзости. Что я делаю? Что читаю? Что думаю? Интересно тебе еще это? Милый, ничего. Я написала работу, и ее выдвинули на премию, но она пуста и беспринципна. Говорить о ней не стоит. Одна зубная боль на сердце. Подозреваю, что это Ольга Ильинская так мне надоела и что мне с ней больше не жизнь. Всё надо менять от верха до низа. Не послать ли тебе еще книг? Пиши скорей. Будет хоть что-то впереди, если ты опять здоров. <...>

¹ См письмо 12, примеч. 1.

15. <27 ноября 1943 г. Иркутск>

<...> Юра, милый мой друг, иногда меня охватывает безнадежность, и мне кажется, что та глава нашей жизни, когда мы были все вместе, закончилась навсегда. <...> Нет ответа и на мое заявление в институт (я просила, чтобы меня вызвали для окончания аспирантуры).¹ Марк Давыдович, которому я писала, тоже молчит.² Письма падают как в черную яму. Что делать? Как выбраться отсюда? Тех друзей, которые сделали бы для меня эти пустяки — походили бы, куда нужно, и понаблюдали бы за меня, нет в Москве, а другие на поверку оказались неважными друзьями. Все уезжают, даже те, кто никогда в Москве не жил, мои студенты, а мы... всё в той же позиции, и уедем ли? Ничего больше Иркутск не дает, я опускаюсь и понимаю это. Еще один год, и я пойду служить в канцелярию. Но не мне тебе жаловаться.

Скажи, Юра, не послать ли тебе еще книг? Кое-что я могу еще достать. Ты мне обещал когда-то написать о Гомере и не написал. Напиши. Я так скучаю без умного друга, без твоего душевного облика. Неужели уж так тебе плохо, что всё это отложено и ушло: искусство и большая жизнь? Я тебе хотела рассказать о друзьях, но, может быть, ты знаешь о них больше, чем я. Яшка в военной школе где-то около Ленинграда. Ему нехорошо: он одно время писал часто. Значит, одиноко и пусто. <...>

Моя жизнь здесь стала мало полезной. Мне очень надо еще учиться, а не учить, т. к. я не знаю даже самых примитивных вещей и ничего не знаю систематически. Отчего ты мне никогда не говорил, что я непристойно невещественна? Смысл моей педагогической деятельности заключался для меня в том, что я, казалось мне, учу их думать, «беспокою» их, заставляю их душу вкладывать в литературу. Но сейчас во

многим из того, во что я верила (в литературе), я изверилась, многое требует (по времени) капитальных поправок, внести которые я или не способна, или для которых не могу найти приемлемой формы. Ты как-то написал, что ты остался при совершенно тех же взглядах, но ведь уже то положение, энгельсовский «прыжок» из ... в ... etc. затянулся и, может быть, отошел в далекое будущее, сильно меняет положение.³ Разве можно сейчас даже такие статьи писать, как писала Усиевич в «Литературном критике»?⁴ Так вот, мне часто теперь приходится в лекциях говорить о том, что никак не связано с «душой» моих ребят и с их печалью и радостью, говорить устаревшее и явно сейчас фальшивое. Надо уехать. Кроме того, я собой недовольна, я в себя верить перестала, и мне стыдно *учить*. Для того, чтобы учить, надо чувствовать себя чистой и уважения достойной. Самое хорошее, что я сделала: научила трех мальчишек французскому языку. Вот опять эгоистическое письмо. Целую тебя, родной. Пиши. Ляля.

<...> На отдельном листке я посылаю тебе стихи A. de Musset,⁵ которого мы в «золотые годы» вместе учили для Мадлены.⁶

Quand on perd, par triste occurrence,
Son espérance
Et sa gaieté,
Le remède au mélancolique,
C'est la musique
Et la beauté!
Plus oblige et peut davantage
Un beau visage
Qu'un homme armé,
Et rien n'est meilleur que d'entendre
Air doux et tendre
Jadis aimé!*

Очень грубо, может быть, посылаю их тебе, тебе, для которого сейчас *la musique* и *la beauté* — вещи недостижимые. Но, читая их, эти «грустные» стихи, я как раз думала о тебе и о многих других, которые мерзнут, идут в атаку, сидят в окопах, едут в теплушках, лежат в госпиталях etc. И о многих людях довоенного времени. Меня поразило отличие двух эпох. *Un beau visage* может больше сделать и к большому принудить, чем *armé*.** И какое ощущение нравственной свободы открывается даже за этим конкретным стишком, за этим незнанием безграничных возможностей *d'un homme armé*!***

* Когда в тоске немых страданий / Нет упований / И жизнь пуста, / Целение — душе печальной — / Звук музыкальный / И красота! / О! Больше значит, больше властно / Лицо прекрасной, / Чем мощный царь, / И сладко слышать в грусти жгучей / Напев певучий, / Любимый встарь! (пер. В. Я. Брюсова; цит. по: *Мюссе А. де*. Избр. произведения: В 2 т. М., 1957. Т. 1. С. 309).

** Прекрасное лицо <...> оружие (*фр.*).

*** вооруженного человека! (*фр.*).

Этот «сын века» и не подозревал о таком положении дел, когда ни красота, ни музыка не могут стать убеждением и лекарством даже для единиц, когда не остается уже ни на йоту душевного комфорта, необходимого для того, чтобы утешаться где-то в стороне и испытывать наслаждение, как хорошенький Musset, от собственной печали. Всё это так, и, хотя мне очень нравится эта кокетливая грусть и это меланхолическое благосостояние, я не отдала бы за него своего изящного знания о возможностях d'homme armé и тех пройденных и проходимых всеми бурь, которые не оставили спокойного уголка даже на самом дне морском. К сожалению, я не могу написать ответных стихов. Но я баба, и мне позволено, в снисхождение к моей дамской слабости, быть непоследовательной. Я посылаю эти стихи тебе вовсе не для того, чтобы изложить изложенное, а для того, чтобы ты (может быть) порадовался бы на их милую музыку и почерпнул из них хоть капельку того душевного комфорта, которого у тебя нет. Значит, un petit peu* я сама надеюсь, что la musique может больше, чем un homme armé и что можно хоть чуть-чуть утешаться этими вещами.

Если уж осмелилась я с тобой говорить об искусстве, то скажу тебе, что я, без всякого отношения к моим занятиям, вдруг влюбилась в Чехова и в его драмы, в «Трех сестер» особенно, вовсе не потому, что там «в Москву! в Москву» (кстати сказать, возглас этот в пьесе совершенно символичен, и значение его неверно, плоско, слишком в бытовом плане понято Станиславским). И теперь только диву даюсь, как я могла этого нежного и удивительно «доброего» художника ставить на одну доску с салонным Метерлинком, грубым Гауптманом и большим, но совершенно абстрактным и безнадежно лишенным всякого утверждения жизни, Ибсеном. Если бы я сама знала, зачем и почему я тебе всё это пишу! Мне просто хотелось почувствовать себя с тобой в своей тарелке, и вот я исписала этот листок всем, чем вчера и сегодня «хорошо» задевало меня. <...>

¹ С 1939 г. Ильинская училась в аспирантуре при кафедре всеобщей литературы Московского областного педагогического института им. Н. К. Крупской (МОПИ), под руководством М. Д. Эйхенгольца.

² *Эйхенгольц Марк Давидович* (1889–1953) — литературовед, переводчик, профессор МОПИ, исследователь и комментатор творчества Г. Флобера и Э. Золя.

³ Ильинская имеет в виду мысль Ф. Энгельса (1820–1895) о «скачке человечества из царства необходимости в царство свободы», когда «объективные, чуждые силы», господствовавшие в истории, станут «свободным делом» людей, творящих историю во имя желанных для них целей («Анти-Дюринг», 1878; отд. 3, гл. 2).

⁴ *Усиевич Елена Феликсовна* (1893–1968) — участница революционного движения и Гражданской войны, в 1930-е гг. печаталась в журналах «Литературный критик» и «Литературное обозрение», писала о проблемах социалистического реализма, политической поэзии и советской критике.

* Немного (*фр.*).

⁵ *Мюссе Альфред де* (1810—1857) — французский поэт, драматург и прозаик; Ильинская приводит в письме текст его стихотворения «Песня» (1850). Ниже она называет поэта «сыном века» — по его роману «Исповедь сына века» (1836).

⁶ *Меллун Мадлен* (*Мария-Магдалена, Марлен*) *Геральдовна*, урожд. *Бюхтгер* (1889—1951?) — преподаватель французского языка ЛГУ и Ленинградского отделения кафедры западноевропейских языков АН СССР. О «Мадлен» с восхищением вспоминали выпускники ЛГУ Е. Г. Эткинд и И. М. Дьяконов.

16. <23 января 1944 г. Иркутск>

Дорогой мой Принц Лапутянский! Сейчас иду на почту отправлять тебе бандероль: шесть разрозненных книг из собрания сочинений Пушкина <...> Я получила извещение от своего старика о вызове в Москву. Дирекция Иркутского университета меня не отпускала до мая, тем не менее Эйхенгольц добился, чтобы вызов мой подписал Кафтанов.¹ Теперь переезд — вопрос двух-трех месяцев. Старик пишет, что ждет меня к 20 марта. Он обещает мне всякие блага: столовую при горкоме писателей, работу в журналах и, что самое главное, педагогическую работу в институте. Он пишет мне на редкость нежные письма и обещает сделать для меня всё, что в силах человеческих. Иркутск приучил меня к подозрительности: здесь никто ничего задаром не делает. Меня бы растрогали до слез эти добрые заботы, но я пугаюсь слишком нежных и интимных ноток в письмах моего мэтра. Может быть, весьма глупо и стыдно быть столь недоверчивой. Да и что же мне пугаться, в конце концов? Несколько неудобных минут какого-нибудь идиотского объяснения.

Пока я ему благодарна: библиотека, возможность учиться дальше, большая жизнь, не Иркутск — всё это он обещает мне вернуть, а это непостижимо много. Теперь-то уж я напишу диссертацию! Он не может вернуть мне московских друзей. Их, увы, нет. <...> В Москву, следовательно, я возвращаюсь на холодное, разоренное гнездо, оставляя здесь моего золотого сибирского мальчика, маленького Юру, который за меня отдаст сотню жизней и даже одну-единственную, имеющуюся в его распоряжении, двух других моих мальчиков, из которых один (Саша)³ — «скептический ум» — будет стоящим человеком. Он тоже меня любит настолько, насколько этой холодной, насмешливой и эгоистичной ребяческой душе любовь свойственна. (Боже! какая литературная фраза.) А еще студенты, мои девочки: для них я больше, чем лектор (может быть, это не лестно для меня как лектора), для них разговоры со мной — дверца в какой-то любопытный, большой мир, и им будет очень одиноко без меня. <...> Москва — перспективы. В Иркутске их нет. В общем, письмо ни о чем, т. к. мне и в голову не приходит остаться здесь, а Юру я вывезу, помещу учиться, буду кормить и водить в театр,⁴ усыновлю, если это будет можно и понадобится. Ты не можешь себе представить, до чего я привязалась к этому 15-летнему рыцарю.

Меня очень поразило твое письмо, особенно, что не нужно «капитальных поправок». Может быть, мы с тобой по-разному понимаем слово «капитальный». Я тоже не собираюсь писать заново «Коммунистический манифест», но тем больше ощущаю необходимость перетрясти свое мировоззрение. Не знаю, может быть, твое «уединение» уж слишком отдаленно, и ты не знаешь и не видишь, как состарился мир. Тем хуже для тебя: тебе придется после войны знакомиться с другими людьми, с другими городами, с другим воздухом. Не знаю, как понравятся тебе новые знакомые. Друг мой, но, что бы ни происходило на свете, ты, моя молодость, мои друзья остаются для меня неприкосновенными, и я знаю, что наши дружеские связи и почва для взаимопонимания сохранятся «до захода солнца».

Я очень далека от пессимизма. Он и не возможен для меня. У меня в крови веселая закваска. Я не только верю, но и знаю, что «жизнь всё отдаст», да и без всяких знаний — снег с голубыми тенями, Ангара в розовых морозных парах, огромность мира, наконец, хрупкие и сложные душевные машинки, которые стучат, торопятся, ломаются и вновь восстанавливаются в каждом встречном и во мне самой, — всё это для меня источник вечного любопытства, упоения и радости. Есть только одна абсолютно скверная штука на свете — смерть. Но если и нельзя лишить ее «жала» во всем мире,⁵ то для себя можно сделать ее нестрашной. Всё это зависит от полноты и цельности каждой данной минуты бытия, от реальных, уловимых на ощупь связей с будущими поколениями. Для меня, «маленькой», эти связи в простой и безыскусственной доброте, в этой штуке, над которой я когда-то презрительно подсмеивалась в свой «демонический» период. Какой убогий результат исканий, отречений в области «личной» морали: надо быть доброй. Но всю свою жизнь я утыкалась лбом, после многих окружных дорог, в простейшие истины, известные дедам и прадедам. Стоило ли изменять одним и оплакивать измены других, вываливаться в грязи и портить жизнь хорошим людям для того, чтобы убедиться, что супружеская верность не «предрассудок», и что привычка не «подлое приспособленчество» и не измена любви, и что «быт» превращает человека в ничтожество только тогда, когда и без «быта» он не вылез бы из болота? Я думаю, что стоило. В конце концов, «решения» приходят и уходят, а недовольство собой, искания, опыт, вечно создаваемый, остаются. <...>

Яшка, видимо, участвует в боях за Ленинград. Боюсь за него. <...> Ленинград уже не будут обстреливать. Скоро окажется свободной дорога из Москвы, и я поеду в гости к Гавриле, который туда вернется. К тому времени, вот тебе пожелание на Новый год; да будешь и ты там, дома. Я встречала Новый год с двумя моими студентками и тремя мальчишками из моего кружка, у нас дома. Были шарады, смешные подарки и задуманный разговор под конец. Это был единственный в Иркутске «милый» Новый год, встреченный по-старому, с друзьями. Если

бы тебя показать им, как они нажились бы на тебя и насколько полезней мог бы ты быть для них, чем я! Когда-нибудь я познакомлю «моих учеников» и вас. Это будет величайшее счастье для меня. Сама не буду тогда уже разговаривать, а сяду в углу, буду смотреть на вас и наслаждаться, какие вы все удивительные, умные, красивые, какие вы Люди. И буду гордиться, что я в вашем кругу и что моя часть тут тоже есть. Да будет!

¹ См. письмо 15, примеч. 2. Вызов в Москву был подписан С. В. Кафтановым, уполномоченным Государственного комитета обороны по вопросам науки, председателем Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР.

³ Юра Уваров, Саша — см. письмо 7 и примеч.

⁴ Свои планы относительно будущего Юры Уварова Ильинской удалось осуществить (см. ниже).

⁵ Ср.: «Смерть! где твое жало?» (1 Кор. 15: 55).

17. <14 февраля 1944 г. Иркутск>

Дорогой Лапутянин! Честное слово, ты ко мне несправедлив. Правда, я пишу тебе редко, но зато длинные письма, гораздо длинней, чем другим. <...> Пропуск мне послан. Об этом Эйхенгольц известил меня уже в трех телеграммах, а пропуска еще нет. Этот старик удивительно заботлив, даже чересчур. Он выхлопотал в Наркомторг распоряжение о том, чтобы мне в Иркутске выдали академический паек, который дают профессорам, на том основании, что я читаю профессорские курсы. Жду этого распоряжения с ужасом. В университете сейчас же поднимется на мой счет волна сплетен и недоброжелательства. Пакет — благополучие, а здесь или, может быть, теперь всюду благополучие пробуждает сплетничество. Таланты, которые и так врождены каждому иркутянину. <...>

Сус в декабре уехала на другой фронт. Где она — я не знаю. Уехала в очень мрачном состоянии, в ожидании всяких несчастий. У Изи были неприятности на службе, и он переведен в другое место. Это я узнала не от него, а от Лени Пинского,¹ который мне прислал кислое скептическое письмо, в ответ на мою записку. У него теперь учатся многие мои студенты, переведенные из Иркутска в Москву. Если бы у меня было хоть в течение месяца такое состояние, как у этого человека всю жизнь, то я, наверное, повесилась бы. <...>

Студенты готовятся меня провожать. Вчера ездила в город сниматься с III курсом у матери одной из моих девочек. Снималась с каждой из них и одна, так что скоро пришлю тебе карточки. На сердце и в голове у меня страшно пусто. Нужны какие-то внешние стимулы для того, чтобы стать похожей на человека. Я стала старчески добра и сентиментальна. Всех жалую, так что, как в детстве, хочется открыть больницу для собак и приют для старых лошадей. Вот увидишь, на старости лет я стану евангелисткой, как тетя Киса,² и буду верить

в Адама и Еву и в сотворение мира в 7 дней. Впрочем, может быть, к моей старости всё это будет l'esprit du temps.* Библейский бог не простит мне проступка, который я пока, в здравом уме и памяти среднего качества, ставлю себе в заслугу: мне почти удалось вырвать из праведного иркутского житья, <2 строки залиты чернилами цензора> самого любимого. Юра Уваров хочет летом сдать экзамены за десять классов экстерном и ехать учиться в Ленинград, в университет,³ на западное отделение филфака. Я даже проектирую поселить его с Ганькой на Невском.⁴ Ганька вернется в Ленинград весной вместе с институтом и будет жить один, т. к. Кошка и Колька в Бухаре⁵ и вынуждены будут задержаться. Впрочем, пока это château en Espagne,** может быть, он не выдержит экзамены, а скорей всего, не вызовут в Ленинград. Но и в этом виде проект поможет ему заняться чем-то после моего отъезда. Он ко мне восторженно привязан. <...>

Я читаю Бальзака, обнаруживая каждый день, что до сих пор я очень мало его знала и просто не читала огромного большинства его романов. Пожалуйста, не подозревай, что я могу что-то интересное думать о книгах. Ничего. Я просто читаю, и мне не очень нравится, хотя я и пребываю при этом в холодном восхищении. Очень трудно любить писателя, у которого не может нравиться ни один герой. Ведь все эти Д'Артезы и Жозефы Бридо,⁶ добрые матери, верные жены etc. похожи на картины академиков — возведенные в небеса глаза с льющимися слезами, воздетые руки, красиво распущенные волосы и полное отсутствие естественности и чувства. Конечно, великолепны интриганы, авантюристы, скупцы, всякая сволочь. Но ими восхищаешься холодно и без симпатии. «Кузина Бета» и «Жизнь холостяка»⁷ — удивительные книги, но ощущение грязи, гнилья остается после них ничуть не меньше, чем после какой-нибудь «Нана».⁸ Нет, я люблю литературу с идеальностью, и Стендаль мне больше подходит. От Бальзака так и тянет к Диккенсу, к добрым, милым, нелепым чудачкам, от которых на сердце светлеет и жить хочется. Может быть, всё это потому, что я два года терпела рядом с собой дракона Ксюшку,⁹ о которой можно было написать мелкотравчатый роман в бальзаковском духе. Сейчас (если подрозовить очки, которых я не ношу, и взглянуть на нашу квартиру) живу в диккенсовской обстановке: милая легкомысленная фантазерка-мать и пять детей, которые трогательно уступают друг другу свои хлебные пайки и заботятся о матери.¹⁰ Ее фантазерство заключается в постоянных проектах обзаведения свиньями и козами, которых надо прокормить, тогда как в семье нет ни копейки денег, ни мешка картошки, ни черта. <7 строк залиты чернилами цензора>

Целую тебя, милый мой друг. Что-то я себе до крайности мерзка. Мне надо выучить, по крайней мере, латынь, испанский для того, что-

* дух времени (фр.).

** воздушные замки (фр.).

бы амнистировать себя. Скрашивают мою жизнь желто-розовые закаты, которых нигде не увидишь, кроме Сибири, огромные звезды по ночам и тоненькие веточки в инее перед моим окном. <...>

¹ Пинский Леонид Ефимович (1906–1981) — филолог, автор работ о западноевропейской культуре XVII–XVIII вв., профессор, участник диссидентского движения 1960–1970-х гг. В письмах Ильинская часто упоминает о Пинском, обнаруживая критическое отношение к нему.

² *Тетя Киса* — Е. В. Ильинская (см. примеч. 29 к воспоминаниям Фридлендера «Ляля Ильинская»).

³ Ю. П. Уваров поступил в 1945 г. в МГУ.

⁴ Адрес Стрелиных в Ленинграде: Невский пр., д. 25, кв. 22.

⁵ А. С. Стрелина с мужем Н. И. Виноградовым находились в эвакуации.

⁶ Герои романа О. де Бальзака (1799–1850) «Утраченные иллюзии» (1843).

⁷ Романы «Кузина Бета» (1846) и «Жизнь холостяка» (1843), включенные Бальзаком в «Сцены из жизни провинции».

⁸ Роман Э. Золя «Нана» (1883).

⁹ Прежняя квартирная хозяйка Ильинских.

¹⁰ Речь идет о семье Юры Уварова и его матери, враче-гинекологе Екатерине Григорьевне Уваровой; отец Юры капитан Петр Алексеевич Уваров погиб на фронте (сообщено чл.-корр. РАН, докт. ист. наук, гл. науч. сотр. ИВИ РАН Павлом Юрьевичем Уваровым).

18. <9 мая 1944 г. Иркутск>

Дорогой мой, я всё еще здесь, но дело идет к концу. 15–18-го кончаю все лекции и уезжаю. <...> Юра, милый мой друг, от Яши нет писем уже 4 месяца. Я писала его приятелю в Ленинград, у которого он жил перед призывом в армию. Они имели от Яши последнее письмо из Кингисеппа (когда наши войска брали Кингисепп). В этом письме он прислал № полевой почты, но посланные по этому адресу письма вернулись обратно с надписью: «адрес неверен». Таким образом, даже неизвестно, куда обращаться, чтобы узнать о его судьбе.

<...> Дружба со студентами стала совсем кровной, и моих дорогих «дочек» вызывали к ректору, чтобы указать им, что их отношение ко мне «оскорбляет других преподавателей»! Меня обвинили, что я якобы соблазняю их бросать университет после своего отъезда. Такая глупость может произойти только в Иркутске.

Мальчика Юру я хочу вывезти в Москву и устроить учиться. Он сдает экстерном за 10 классов, пока на отлично. Сдал французский, который учил со мной 9 месяцев. Успехи его во французском просто удивительны. Он прочел уже много книг, среди них философские повести Вольтера, несколько сборников Мопассана. Сейчас сидит на моем диване и читает Мюссе. Об этом и писать даже неудобно, так это удивительно и здорово. Я чувствую себя как курица, которая высидела лебеденка. Он мой «богоданный» сын, спасибо за него жизни. Тему диссертации переменяла, хотя и оставила Zola. Эйхенгольц прислал

восторженную телеграмму по поводу новой темы, но тебе я ее пока не назову. Тебе она не понравится. <...> Целую. Ляля.

19. <27 июня 1944 г. Москва>

Дорогой Лапутянин, мы в Москве уже почти неделю. Наша жилплощадь в старом, теперь отремонтированном доме занята, но нас прописали временно в комнате Марины и, по закону, должны возместить нам занятую жилплощадь, за которую мы аккуратно платили. Пока я живу у Мити, а мать у Марии Сергеевны.¹ На днях переедем на дачу. Мать будет, видимо, и здесь работать инструктором, возможно, на старом месте. Меня с первых дней старик загрузил делами. Через неделю я уже начинаю читать заочникам.² Буду вести семинар по курсу Эйхенгольца и т. д. Прямо страшно делается за диссертацию. Вряд ли удастся написать те три статьи, которые я придумала. Печатать трудно, да если и напечатаешь, то платят очень мало и очень нескоро, а мне надо деньги зарабатывать. Писать для себя — роскошь. Вчера была на защите докторской диссертации Грифцова, тема: «Бальзак». Ее с треском провалили, и провалила молодежь — кандидаты-дамы, которые очень блестяще разбили Грифцова и в пунктах, наиболее ценимых профессорами-стариками. Они доказали, что и «научная», фактографическая сторона диссертации уступает западным трудам такого типа, больше того, она буквально списана из французских работ о Бальзаке. Последняя речь кончалась так: «Если бы у нас были такие бальзаковеды, как Гриб,⁴ то диссертация не была бы допущена к защите». <...> Целую. Пиши. Ляля.

¹ Митя — Д. Н. Курсанов (см. примеч. 27 к воспоминаниям Фридлендера «Ляля Ильинская»), в 1920-х гг. его семья жила в одной квартире с Ильинскими. Мария Сергеевна — лицо неустановленное.

² Речь идет о начале работы Ильинской в МОПИ (см. письмо 14, примеч. 1).

³ Грифцов Борис Александрович (1885—1950) — крупнейший советский исследователь творчества Бальзака, автор монографии «Как работал Бальзак» (1937), переводчик. См.: Гунст Е. А. Б. А. Грифцов как бальзаковед // Оноре де Бальзак: Библиография русских переводов и критической литературы на русском языке, 1830—1964. М., 1965. С. 356—360; Русские писатели, 1800—1917: Биограф. словарь. М., 1992. Т. 2. С. 45—46 (статья А. В. Лаврова). В работах Грифцова заметна «неуверенность <...> в собственно социологическом анализе», ограниченном «повторением апробированных наблюдений Энгельса»; бальзаковедческие работы исследователя имели преимущественно «популярный характер», очевидный для академического сообщества (Зенкин Б. А. Грифцов — теоретик литературы // Грифцов Б. А. Психология писателя. М., 1988. С. 18), видимо, эти особенности и послужили основой для провала его диссертации.

⁴ Гриб Владимир Романович (1908—1940) — литературовед, эстетик. О его работах как «новой ступени в развитии бальзаковедения» см.: Резник Р. А. В. Р. Гриб как исследователь Бальзака // Оноре де Бальзак. С. 350—356.

20. <23 августа 1944 г. Москва>

<...> Друг мой, до чего сложнее и сложнее становится и осознается с годами жизнь! Скажи, я ли это виновата, или всегда так бывает, что прошлое уходит, оставляя след только в характере, в мировоззрении, в поступках, но все попытки задержать его реальные «остатки», людей, быт, оказываются бесплодными, мучительно бесплодными. Как отнеслась бы я к тем, кто в первые месяцы войны попробовал бы мне сказать, что Сусанна будет мне чужим человеком, когда мы встретимся? А она мне все-таки чужая, и это тем тяжелей, что «прошлое обязывает» и что мы обе пыжимся зажечь вновь угасший «огонь дружбы». Мы ласковы друг к другу, мы целуемся при встрече, а интерес общий отсутствует, и я не могу понять, дружески понять главный смысл Сусаннинного существования сейчас: найти мужа, иметь ребенка, иметь свой дом. Уже это желание делает ее очень холодной к окружающему миру и ко мне. Всё, что не это, для нее «деталь», проходящее. Но зачем винить ее? Может быть, это во мне сидит бесенок отчуждения и равнодушия к людям. <...>

То же произошло у меня и с Ганькой (он проезжал в Ленинград).¹ Омерзительным тоном я читала ему нотацию, аки Онегин Татьяна, ему, такому жалкому, похожему на мокрую ворону, полусумасшедшему. Мы вовсе не радовались друг другу. Наоборот: эти три дня были днями мучительных, психологических разговоров на брачные темы — что ему нужно, да что мне. (Какими простыми казались все эти встречи из Иркутска! Но если бы хоть одну минуту непосредственной радости!) Всё это было агонией долголетней иллюзии на тему о кровно близком человеке, которому ты беспрекословно нужен. (Забавно, что оба мы не думали о нужности для меня другого человека, а только о том, что я другому нужен.) Единственное истинное, что у меня было в этой встрече, это беспомощная жалость и полное сознание, что он погибает морально, что он стоит на границе какой-то ямы, из которой уже не вылезти, и что не только я, но и никто здесь помочь не может, разве только на время какая-нибудь самоотверженная, бесконечная любовь. А где ее взять?

Да и о Яше не пролила ни одной слезы. Нет, я не забыла его. Тяжелым камнем он лежит у меня на сердце. Вдруг вспомню его кудрявый вихор, университетский бушлат, его маленькие, широкие, красные лапы, и такая боль свяжет всё тело, что нет сил ходить, думать, встречать людей. Боль и виновность. Как скуп, как нелепо жадно я отпускала ему свою божественную личность!² По полфунта в год, да еще с оговорками, чтобы он знал, какую ценность получает, недостойный. Но я твердо знаю, что если бы сейчас начать опять, то было бы еще хуже, еще расчетливей, еще бесчестней. Это я такая уроды или жизнь? <...> Но нет, есть еще один живой: мой золотой иркутский мальчик, мой маленький Слон,³ о котором я почти не могу думать без слез умиления.

Но его мне до сих пор еще не удалось перетащить в Москву. <...> Может быть, все-таки он приедет, и я буду водить его по городу, читать ему книги, помогать ему жить и доделаю до конца это беспорное дело, хорошее дело создания человека.

А пока я продолжаю быть здесь ужасно одинокой. Только и есть у меня для разговоров, без которых сейчас совсем не обойдешься, а жизнь меняется с каждым днем, и один ее не расчухаешь, — Андрей, мой соаспирант.⁴ Но он, хоть и очень хороший, и неглупый, и много перевидавший, а российский байбак в мыслях и в жизни. Он ленится додумывать до конца и часто логический вывод заменяет эмоцией, а эмоция — подлюга. Она в благородные костюмы переодевает выгоду и сует ее тебе в нос, замаскированную под энтузиазм, и т. п. штучки. Настоящая страстность мысли заключается вовсе не в том, чтобы перемешивать логику с инстинктивными порывами, а в том, чтобы, вопреки даже эмоциям, доводить мысль до конца, до практических выводов. И потом уж слишком велико в нем желание отойти по возможности в сторону и заняться книгами. Уж очень легко он соглашается на всё, что преподносит ему жизнь и его собственный характер.

Видела я еще несколько раз Дм. Ник. Насонова и Вильку.⁵ Вот с этими людьми у меня никакой отчужденности нет. Так легко, приятно и свободно я давно себя не чувствовала. Но ведь это только оттого, что мы друг на друга никаких больших ставок не ставим, жизнь свою друг с другом не связываем и не требуем от себя слишком большой радости и волнения при встрече. Какой же это замечательный человек Дм<итрий> Ник<олаевич>! Очень многое в нем хорошо изменилось после того, как он побывал в окопах, повоевал, голодал в Ленинграде. <...> Он живет большой жизнью и в науке, и во всем том, что происходит в мире. С Вилькой мы порешили попробовать поднять дело о Яше и его уходе из комитета.⁶ Этот уход, как, может быть, тебе неизвестно, связан с травлей, а травля с такими вещами, о которых лучше не поминать. Вильку, как поклонника Шелома Алейхема и Лиона Фейхтвангера,⁷ это дело интересует не только из дружеских отношений к Яшке, но и принципиально. Может быть, пока еще и можно что-нибудь сделать. От одной мысли, что негодяи, отравившие ему жизнь, отнявшие у него работу, которую он выполнял героически, может быть, даже замаравшие его репутацию, сидят и распоряжаются этим любимым Яшиным делом, приводит меня в состояние ярости и негодования. Да и не об одном Яше идет тут речь. Скоро Вилька поедет в Ленинград и там выяснит все обстоятельства этой грязной истории. Неужели люди, которым Яша отдавал свой хлеб в самые голодные дни, которых он любил так, как никто не любит братьев и сестер, откажутся принять участие в восстановлении его доброго имени? Впрочем, пока еще всё это довольно темно и неясно. Может быть, даже и те разговоры о причинах травли, которые до меня дошли, — сплетни мнительных людей.

Была с Сус у Мих<аила> Ал<ександровича>.⁸ Он произвел на нас обоих грустное (маленькое слово) впечатление. После того, как мы вышли от них, мы шли молча целый квартал, как после внезапного извещения о смерти. Дело не только в том, что его отправляют в Ленинград, куда ему, как он сказал, «от родных могил» уезжать не хочется. <...> это всё поверхностные обстоятельства. Он лишен и внутреннего стимула к творчеству. Здесь «мировой дух» так основательно напакостил, что человек, который бесконечно много мог, уже ничего не может. И думаю, что с ним, как с «мэтром», кончено. Тот период истории, который возрастил его, завершился. Он это настолько хорошо знает, что сам читает по себе отходную. Бога ради, не усмотри в том, что я пишу, недостаток уважения к нему. Раньше он был для меня только человеком огромного ума и широты, а сейчас еще гораздо больше: человек, которого я люблю, которым я люблюсь и которого я понимаю, потому что ведь и мы немного отпили из этой чаши с цикуттой. О таких, как он, лет через сто, напишут трагедии, и это будут «самые трагические трагедии» в мировой литературе. Огромное величие в этом — «наступать на горло собственной песне», потому что, в конце концов, огромное большинство людей поменьше никогда не «наступало» и не «наступит», и будут «петь» до тех пор, пока песня не станет жалким «писком». Ах, какой он стал добрый, мягкий и простой! Олимпийство улетело, а вместо него появилась та непосредственная отзывчивость, в отсутствии которой упрекал его Изя.

Видела я еще Риту.⁹ <...> Мне было с ней очень просто и обыкновенно, словно я ее вчера только видела. Уютно и не очень интересно. Она много работает, и у нее появились те же «холостяцкие» навыки, та же самостоятельность, как и у всех женщин во время войны, которые остались без мужской помощи глаз на глаз с жизнью. Все мы стали *braves femmes** в той или иной степени. Многим будет даже трудно отвыкать от одинокой жизни и от свободы, которая сейчас кажется пылой. И мне тоже. Очень уж материально трудно жить, мелочи одолевают. Нужна поддержка. Может быть, поэтому я вернусь к Гане, если вернусь. (Только как страшно мне лезть в его темноту беспросветную!) О чем же еще писать? О Ромэн Роллане, «Драмами о революции»¹⁰ которого я зачитываюсь? Но ты его забыл и не очень, кажется, любишь. Кроме того, вряд ли они покажутся тебе такими современными, как кажутся мне. О замечательном русском художнике Корине, о котором до сих пор мы знали только по слухам, а теперь увидели часть его картин на выставке?¹¹ Но как опишешь картины, да и интересно ли это тебе? О внешней нашей жизни? До сих пор у нас нет комнаты, хотя за нами и сохраняется бесспорное на нее право, и хлопочет о маме Моссовет и т. д. <...> Я больше месяца читала лекции и принимала экзамены у заочников моего института. Готовлюсь к последнему минимуму,

* отважные женщины (*фр.*).

доделываю своих «зверей»¹² и бегаю к Гудзию¹³ и в Наркомпрос хлопотать о Юре. Написала статью о выставке пейзажа для «Литературы и искусства».¹⁴ Пошлю тебе эту «песню», в которой уже слишком много писклявых нот. Из новой литературы прочла только роман Пристли «Дневной свет в субботу» («Новый мир» 1944 г., №№ 1—3) и его пьесу «Они дошли до города».¹⁵ Этот писатель очень любопытен для нас, т. к. по его книгам довольно ясно представляешь себе современную английскую жизнь. <...>

Я буду зимой читать спецкурс (45 час.) «История стилей». (Так называет его М<арк> Д<авидович>, но на самом деле это синтетическая история живописи и литературы нескольких, избранных, эпох. Античность я исключила.) Очень нуждаюсь в твоих советах по этому курсу. И вообще, если ты будешь прорекать иногда истины о связи живописи и литературы, о господстве музыки, живописи, поэзии, драмы в различные эпохи (главным образом, XIX в.), о «музыкальности» поэзии символистов и «живописности» натурализма, об идее синтетичности искусства в XIX в., то это будет очень полезно и для моей диссертации. Целую. Ляля.

¹ О встречах Г. С. Стрелина с Ильинской в 1944—1945 гг. сообщала в письмах к сыну А. М. Фридлендер, ссылаясь на рассказы о них его сестры: Ляля «весьма не прочь вернуться к Гане, но она (сестра — С. Б.) убеждена, что хорошего не получится, и она очень против» (30 нояб. 1944 г.).

² А. М. Фридлендер считала, что «Ляля никому не в состоянии дать кусочка счастья»: «Яшу можно было только пожалеть, какой он был одинокий и заброшенный, только в работе он обретал покой, а работал он и днем и ночью, был страшно издерган, очень плохо себя чувствовал, не лечился» (осень 1944 г.); «...как трагична его судьба и как мало радости он испытал от жизни с Лялей!» (17 мая 1945 г.).

³ Слои — так Ильинская звала Юру Уварова.

⁴ Андрей Семенов — аспирант М. Д. Эйхенгольца, защита диссертации которого должна была состояться в 1946 г.; конкретизировать биографические данные не удалось.

⁵ Д. Н. Насонов ушел на фронт в 1941 г., служил командиром санитарного взвода медсанбата на Пулковских высотах, в конце 1942 г. был отозван с фронта для научной работы. Вилька — Владимир Яковлевич Александров (1906—1995), биолог и цитолог, лауреат Сталинской премии (1943) за совместную с Насоновым книгу; служил на фронте в том же, что и он, взводе. В 1944 г. они работали в Москве в Институте цитологии, гистологии и эмбриологии АН СССР. О знакомстве Ильинской с ними см. примеч. 35 к воспоминаниям Фридлендера о ней. 27 сент. 1941 г. она писала Фридлендеру в Архангельск: «Вилька и Насонов оба пошли в ополчение. Я отчего-то очень рада, что Дм<итрий> Ник<олаевич> так сделал. <...> он не просто профессор, закоренелый интеллигент-брюзга, а живой и душевно молодой человек».

⁶ См. письмо 12, примеч. 2.

⁷ Александров называет писателей-евреев Шелом-Алейхею (1859—1916) и Лиона Фейхтвангера (1884—1958). Об этих слухах, имеющих под собой вполне вероятную основу, см.: Рубашкин А. И. Голос Ленинграда: Ленинградское радио в дни блокады. 3-е изд., испр. и доп. СПб., 2005. С. 194—208; Биневиц Е. М. Свидетельства о Якове Бабушкине // Звезда. 2015. № 12. С. 218—229.

⁸ Речь идет о М. А. Лифшице, который в это время служил преподавателем в Военно-морской академии в Ленинграде.

⁹ *Лурье Рита Ноевна* — дочь писателя Н. Г. Лурье (1885—1960), свояченица В. Р. Гриба; в послевоенное время биолог, жена И. Е. Верцмана.

¹⁰ Имеется в виду «Театр революции» (1898—1939) Ромена Роллана (1866—1944), в котором речь шла о событиях Великой Французской революции и затрагивалась острая современная проблематика.

¹¹ *Корин Павел Дмитриевич* (1892—1967) — художник, реставратор, педагог. В 1944 г. его картины были выставлены в залах Третьяковской галереи, еще не вернувшейся из эвакуации. Отклик Ильинской на выставку отражает тот дух открытия неведомого, который связывался с картинами Корина: «Лишь немногие из его произведений были известны не только зрителям, но даже критикам и художникам. <...> о Корине существовало немало предвзятых мнений, может быть, больше, чем о ком-либо из его сверстников» (*Михайлов Алексей И.* Павел Корин. М., 1965. С. 170).

¹² См. письмо 12, примеч. 2.

¹³ *Гудзий Николай Калининлович* (1887—1965) — историк русской литературы, в 1944 г. профессор и декан филфака МГУ; визиты к нему были связаны с оформлением вызова в Москву для Юры Уварова.

¹⁴ Речь идет о выставке советского пейзажа в Московском союзе художников. Рецензию на нее Ильинская напечатать не смогла, поскольку в «Литературе и искусстве» (1944. 2 сент. № 36) появилась статья К. Ф. Юона «Современный пейзаж».

¹⁵ «Дневной свет в субботу» («роман об авиазаводе»; 1943) английского писателя *Джона Бойтона Пристли* (1894—1984) после публикации в «Новом мире» был выпущен в 1944 г. отдельным изданием (как и его пьеса «Они пришли к городу», 1943).

21. <22 октября 1944 г. Москва>

<...> Очень трудно и не хочется писать, т. к. всякое письмо сводится против воли к жалобам и нытью, а что толку прибавлять людям еще и свои несчастья? Писать же о том, о чем сердце молчит, стыдно и трудно. Комнаты у нас нет. Это становится с каждым днем мучительней и будет совсем скверно, когда приедет хозяйка комнаты, где я живу, и я поселюсь в углу у одной толстой, довольно славной женщины, которая живет с сыном и пускает еще и меня за мои занятия с ним французским. Тогда уже никто не будет ко мне приходить, и заниматься по вечерам нельзя будет. Но главное, что маме совсем скверно без угла и дома. Хоть подвал бы какой? Все-таки свой дом. Но и это пустяки (ведь не безнадежно же) по сравнению с Яшей, Яшей, который измучил меня. Хожу по улицам, особенно отчего-то в метро, и ищу его глазами, вглядываюсь в людей, словно он где-то спрятался и захочет — покажется мне хоть на минутку. Бессмысленно думать: что было бы, если бы он вдруг вернулся? Но я все-таки думаю, что пусть хоть хромым и слепым, пусть весь изуродованный, да вернулся бы. У меня не осталось бы своей жизни, я каждый день и час, каждую мысль отдавала бы ему и при этом знала бы, что я счастливый человек! И всё грызешь себя, что вот оно было, счастье, было рядом, а я не была счастлива, я не

отдала всего, что могла отдать, не растворилась до конца в этом счастье и ничем не пожертвовала ради Яши. Ох, лучше бы мне сразу поехать к нему в Ленинград и сдохнуть там от голодухи, сдохнуть, да все-таки его подругой, его женой, которая с ним всё горе поделила. А что я с ним делила? Что я ему отдала?¹ Господи, Господи... И всё это, как осенний дождь. Всё одни и те же мысли, всё воспоминания, которые не утешают, а дают только призрак радости и, уходя, делают настоящее еще более пустынным.

Не думай, что я ничем не занята, наоборот, очень много у меня дел, и иногда я уже забываюсь, радуюсь студентам и страстно думаю о литературе и жизни, но останешься одна, и всё это схлынет, как вода с песка на берегу, и опять Яша, Яша, Яша. Если бы я понимала раньше, до чего я его люблю, до чего он лучший из всех для меня, до чего вся моя жизнь проникнута им! Эх, ну зачем, зачем говорить об этом? Всё уже теперь незачем. И Ганьку я потеряла одним ударом, как-то за одну ночь, которую я проревела в подушку. Когда, после приезда Ольги Берггольц и Макогоненко,² я, наконец, поняла и поверила, что Яша умер, мне так стало невозможно и пусто. Тогда я писала Ганьке: «Ради бога, напиши мне хоть одно слово ласковое, чтобы я знала, что я не одна на свете, без поддержки, с моей старой и тоже одинокой матерью». И он ничего мне не писал целый месяц, а потом прислал 500 рублей, словно я денег у него просила, и такое подлое, пустое, скудное, как зубная боль, письмо. Тогда-то, о чем я уже в Москве, при последней нашей встрече, догадывалась, открылось мне во всей ясности: Ганьки уже нет. Это какой-то мертвый, пустой человек, заеденный собственной бесплодностью, утонувший в самом себе — в мелком болоте, был у меня в Москве, а сейчас не живет, а доживает себе в Ленинграде. И напрасно просить его о дружбе и о помощи — он не может. И каждое мое письмо для него мука, потому он осознает еще острее, что он не может ни жалеть, ни любить, ну, ничего, ничего не может дать другому человеку. И тогда он отпал от моего сердца, как-то отвалился без остатка, только пустота и боль остались, а о нем даже воспоминания ушли. А в будущем ничего уже с ним не связано. Дома у меня нет и в Ленинграде, а ему я ничем тоже помочь не могу.

Юра, дорогой мой, прости мне этот писк раздавленный. Я как-нибудь вылезу. Я не знаю еще как, но надежда и желание жить у меня остались. Ведь остался еще интерес к людям и возможность радоваться, раздавая себя им. А ведь есть же еще что отдавать? Ведь еще студенты, когда я с ними говорю здесь, в Москве (я преподаю в двух вузах),³ верят мне и у них делаются живые глаза. Может быть, ты, когда вернешься, найдешь еще живого и способного делать человека. Но сейчас тебе, единственному из моих близких, кто кровно и больно помнит Яшку, я не могу писать ни о чем другом, кроме своей болезни. Залижу раны, тогда буду писать тебе о Шекспире, о людях, о мыслях. А сейчас ничего нет, кроме страдания и тоски. Л.

<...> Мой Юра маленький еще не приехал, хотя вызов ему из университета послан уже. Очень надеюсь на него.

¹ См. письмо 20 и примеч. 1—2.

² *Берггольц* — см. письмо 11, примеч. 1, 10. *Макогоненко Георгий Пантелеймонович* (1912—1986) — литературовед, профессор ЛГУ, в годы войны сотрудник Ленинградского радиокомитета, муж О. Ф. Берггольц.

³ Ильинская, кроме МОПИ, начала читать лекции во ВГИКе.

22. <22 января 1945 г. Москва>

Дорогой мой! Как можешь ты думать, что я на тебя могу сердиться, да еще за то, в чем я не могу не быть согласна с тобой. Ощущение вины перед Яшей, перед всяким умершим, неизбежно. Это знак содержательности тех отношений, которые прервала смерть, их неисчерпанности, возможности их развития, которая не была и, может быть, не могла быть использована. Кроме того, мучиться Яшей для меня психологическая потребность, еще не порвавшаяся связь с ним, прошлое, живущее в настоящем. Не говори мне, что я не виновата перед ним. Всякий перед другим виноват, что поспешно и невнимательно живет в других, мог бы, может, больше дать, а мы проходим мимо людей, замкнуты, <1 сл. оторвано> никогда не понимая до дна, что «я» — это и есть <1 сл. оторвано>. Что касается Гани, то возвращение к нему делается всё более и более проблематичным, хотя это и представляется мне единственной соломинкой, за которую я могу схватиться, чтобы выбраться из этой черной жизни, действительно мертвящей и страшной, которую мы сейчас ведем. Жилотдел старается впихнуть мать, Марину,¹ меня на 12 метров, в том же доме, где жили мы раньше. Мы и живем сейчас трое, вернее четверо (Юра маленький обедает и занимается у нас),² в этой грязной норе, но ордера не взяли и 29-го будем судиться. Подробно писать не хочется. Всё это измучило до крайности и мать, и Марину, и меня. О науке не может быть и речи. Я себя чувствую до того униженной, пустой, старой, что не хожу к знакомым. Что нести к ним? Возмущение? Усталость? Усталость такая, что очень хочется умереть, чтобы не двигаться, не чувствовать, не видеть. Может быть, это и хорошо — как подготовка к смерти. Словно яблоко, которое созрело для того, чтобы упасть. <...> Поздравляю тебя с Новым годом, дорогой.

¹ *Марина* — см. письмо 13, примеч. 3.

² Юра Уваров был зачислен на подготовительные курсы МГУ.

23. <7 апреля 1945 г. Москва>

Дорогой Юрок, опять и опять прости за молчание. <...> Здесь давно уже, с приезда Лидии Яковлевны в Москву,¹ тянется длительная эпопея с письмом о тебе автора «Жанны Ней».² Это письмо добывалось

мной под руководством Л<идии> Я<ковлевны>, потом его должен был подписать Кеменов,³ и для этого оно было отнесено мной к Елене Феликсовне.⁴ Сия суматошная женщина умудрилась письмо потерять, долго от меня это скрывала и, наконец, три дня назад призналась, бия себя в грудь. Обращаться вновь к Илье она мне запретила, т. к. сегодня вечером она, Кеменов, Игорь Александрович,⁵ вернувшийся в Москву для лечения, и вышеупомянутый Илья будут говорить о тебе лично с более значительным лицом, чем то, к которому было письмо адресовано.⁶ <...> Благодаря тебе я познакомилась с Ильей, который мне чрезвычайно понравился. Он держится очень просто, доступно и спокойно. Такие у него умные, пристальные глаза. Но еще больше поразил меня его пес Бузу, иностранный уродец, черный, лохматый, на коротких лапах, и стоит гордый, словно Илья отдал ему всю спесь, которой у нас обычно угнетают просителей. Этого Бузу горничная даже зовет «Вы», и когда он меня облаял, эта милая женщина сказала: «Я тоже на них сперва обижалась, а у них это приветствие такое».

<...> Что касается нашей жизни, то ты можешь спокойно писать на этот адрес. Гроб прочно заколочен. Описывать эту жизнь не стоит труда. Сыро, темно, тесно, «удобства» ломаются, денег никогда нет. С Ганькой у нас ничего не получается. Мы или мучаем друг друга, или скучаем до зевоты. Тем не менее, несмотря на сходство с гнилым грибом-шлюпиком, Ганька все-таки свой и хороший мужик. Расстались мы, опять отложив всякие решения, и снова начнется келейная переписка и фантазирование друг о друге.⁷ Скучно, как зубная боль. Я читаю на всех парах историю художественных стилей, погружена в открытие давно открытых Америк в искусстве. Студенты у меня полны энтузиазма и благодарно принимают мои измышления. Приезжал Пашка Громов.⁸ Мы много с ним говорили, и он был мил мне как память молодости, да и просто сам по себе. Я всегда любила этого «бузу», хотя и сейчас остро чувствую, какой он «мутный». Он стал проще и дружественней, должно быть, от трудностей, которые и ему пришлось пережить. Но всё же сутолока в голове ужасная, такая юношеская сутолока, а лет ему 30, и всё такой же он бездомный, один. Жить ему скучно, и он поговаривает о самоубийстве. Ходили мы с ним в театр, читали стихи. Привез он мне хорошие стихи какого-то своего приятеля, настолько хорошие, что мне хотелось бы их тебе послать. <...>

Вот тебе эмпирическое письмо. Писать о мыслях не могу. Всё равно потом не отсылаю. Может быть, скоро увидимся, будем говорить, и я буду ругана тобой за пышные, но еретические концепции. Только бы не пришлось тебе ехать мимо Иркутска.⁹ Лучше бы поезд твой шел прямо в Москву или Ленинград.

Сегодня видела с Ганькой хроникальный фильм «Освобожденная Франция».¹⁰ Страшно это интересно: вся история Европы с 37-го года. А что касается «Ивана Грозного» и всяких других художеств, то это

печально, может быть, даже трагично: жалеть не надо, что этого не видишь.¹¹

<...> Между студентами ходит гигантская лирическая рукописная литература. Сплошь очень личная лирика, причем поэтов этих знают в разных институтах, знают даже их легендарные, быть может, биографии. <...> А вот тебе стихи Пашкиного поэта.¹²

Улица теряется во мгле,
Лампа отражается в стекле.
Будто кто-то черный с фонарем
Встал непоправимо за окном.
— Что тебе, иль нищенствуешь ты?
— Нет, — глухой ответ из темноты.
— Может быть, пустить заночевать?
— Нет, — едва доносится опять.
— Что же ты блуждаешь по ночам?
— Словно ты, поэт, не знаешь сам.
Радость нам единая дана:
Светом из чужого жить окна...
Лампа отражается в стекле.
Улица теряется во мгле.

¹ Рейнгардт Лидия Яковлевна (1909–1994) — сотрудник Третьяковской галереи, доктор искусствоведения, жена М. А. Лифшица. Изю всех, кто принимал участие в вызволении Фридендера из лагеря и ссылки, самым активным был Лифшиц, но к 1944 г. он понял, что его возможности исчерпаны, после чего предложил Фридендеру обратиться к И. Г. Эренбургу (см. ниже).

² Имеется в виду автор романа «Любовь Жанны Ней» (1924) *Илья Григорьевич Эренбург* (1891–1967), ставший с 1944 г. своего рода координатором действий по освобождению Фридендера. См.: «Трудармеец Фридендер, Г. М.». С. 454–455.

³ *Кеменов Владимир Семенович* (1908–1988) — искусствовед и литературный критик, в 1940–1948 гг. председатель правления Всесоюзного общества культурной связи с заграницей (ВОКС).

⁴ Елена Феликсовна — см. письмо 15, примеч. 4.

⁵ *Сац Игорь Александрович* (1903–1980) — литературный критик, публикатор работ А. В. Луначарского; во время войны старший лейтенант, переводчик и радио-разведчик (на линии обороны, в 100–150 м от противника).

⁶ Речь идет о первом заместителе председателя Президиума Верховного Совета СССР Н. М. Швернике, чье ходатайство решило дело Г. М. Фридендера.

⁷ Об этой поездке Г. С. Стрелина в Москву А. М. Фридендер писала сыну 14 апр. 1945 г.: «Гане жаль Лялю, которой живется весьма тяжело, и от жалости он решил ее забрать. В смысле квартиры ей очень плохо, в смысле одежды также. Он приобрел ей какое-то платье и т. д., помогал всё это время материально».

⁸ См. письмо 7, примеч. 7. К своей встрече с П. П. Громовым в Москве и сложных взаимоотношениях с ним Ильинская вернулась в письме к Фридендеру от 12 дек. 1945 г.: «Ненависть <...> к тебе, к Яше, к Шуре в нем сидит и сейчас. <...> вы ушли “без надлома”, когда он оправдывал надломом все свои слабости и грехи, может быть потому, что вы обходились без этих грехов, а к его грехам относились с отвращением или с иронией, но без всякого интереса <...> Он был у меня и был прост сравнительно и даже ласков, а потом прислал истерическое письмо, в кото-

ром заявил, что он не может со мной “дружить”, хотя и любит меня, т. к. я ваш друг. <...> его литературная деятельность вызывает у меня отвращение. Читал ты его статьи? Подтасовка и ложь в литературной критике всегда противны, но когда человек врёт сознательно, когда он не верит ни в одну запятую в своей статье и опакощивает вещи, в которые когда-то верили и имели основание верить, то это цинизм».

⁹ Ильинская намекает на ссылку в Сибирь или близящуюся войну с Японией.

¹⁰ Фильм С. И. Юткевича (1904—1985) «Освобожденная Франция» (1944), широко представлявший документальные съемки французских, английских, немецких и советских операторов.

¹¹ Речь идет о первой серии фильма С. М. Эйзенштейна «Иван Грозный», вышедшей в прокат в 1945 г. Ильинская оценивает ее резко негативно, что совпадает с мнением многих критиков. Герой повести А. И. Солженицына (1918—2008) «Один день Ивана Денисовича» (1962) осудил в «Иване Грозном» «гнуснейшую политическую идею — оправдание единоличной тирании» и «глумление над памятью трех поколений русской интеллигенции» (Солженицын А. И. Собр. соч.: В 30 т. Париж, 1978. Т. 3. С. 44).

¹² Стихотворение ленинградского поэта Глеба Семенова (1918—1982) из цикла «Случайный дом» (1942—1944), посвященного Павлу Грому (не опубликовано; сообщено Н. Г. Охотиным). «Раздумчиво-лирическое» стихотворение «Улица теряется во мгле...», как одно из самых любимых, упоминается в письме Т. Ю. Хмельницкой от 11 февр. 1966 г. (Глеб Семенов и Тамара Хмельницкая. «Говорить друг с другом, как с собой...»: Переписка 1960—1970-х годов. СПб., 2014. С. 191). Ниже Ильинская приводит еще одно стихотворение того же поэта «Гроза» (опубликовано 1940; см.: Семенов Г. С. Стихотворения и поэмы. СПб., 2004. С. 58), утверждая, что оно «похоже на фильмы А. Довженко».

24. <28 апреля 1945 г. Москва>

Дорогой мой! Ты, наверное, недоумеваешь, а может быть, и обижаешься, не получая ответа на твое письмо от 15/I.¹ Но мне его принесли только сегодня, сейчас, и от этого я продолжала писать тебе так, словно его и не было на свете. Оно без марки и, должно быть, заблудилось. Конечно, письмо очень поразило меня, но как могло оно меня оскорбить? Мне никогда не приходил в голову такой вариант. Я привыкла видеть в тебе брата, и отчасти поэтому сейчас ответить на него не могу. Но не только поэтому.

Было бы сумасбродно решать вопрос о полном изменении наших отношений, находясь за тысячу километров друг от друга и не встречаясь четыре года. Подумай: ты пишешь так, словно все «да» и «нет» зависят только от меня. А может быть, увидавшись, ты пришел бы в ужас от перспективы иметь под боком такую пожелтевшую, тощую, усталую и довольно скучную женщину, как я теперь. Я старше тебя. Это кажется маловажным сейчас потому, что ты давно не видел меня, и потому еще, что тебе твое будущее кажется связанным, «неравноправным». Твоя жизнь и в этом отношении может устроиться гораздо счастливей и интересней. Главное ты сам знаешь: мы оба «подневольные». И разве только бог, а скорей всего, и он не может угадать, куда закинет меня ВКВШ,² а тебя... рок.

Что касается меня, то, может быть от неожиданности, мне представляется это противоестественным, и кажется легче, менее страшным возобновление совместной жизни с расхлябанным Гаврилой, с которым у меня нет никаких решительно духовных связей. Проще, потому что с ним я знаю ту степень насилия, которую мне придется применить к себе: он десять лет был моим мужем, хотя не меньше девяти лет из десяти наша связь напоминала ночное убийство. Пройти через весь этот стыд и уродство без «страстной любви», как ты говоришь, можно только не слишком любя и уважая человека, настолько мало любя и уважая, что способен заключать с ним сделки: тебе это, а мне то. Да и за эти сделки старый Ибсен, который был честным мужиком, карает своих героев в течение 3—4-х актов.³ Не с тобой же мне заключать такую сделку? <...>

Друг мой, я тебя вдвое люблю за это письмо. И написать его мог только такой чистый и юный еще человек, как ты. Всякий «искушенный» знал бы, что брачные отношения не могут быть простым доверием к дружбе, и не стал бы так, без оглядки, делать предложение 34-летней женщине, которую он целый век, да еще век войны и эвакуации не видел, да еще женщине, как говорится, «с прошлым». Прости меня за похабный тон, но лучше так, чем с обманом и вслепую. А ты, мой драгоценный Лапутянин, ты тоже самый родной и близкий на свете друг и брат. <...> Ляля.

¹ Речь идет о письме Фридлендера, в котором он сделал Ильинской предложение. См. вступ. статью, с. 491.

² Всесоюзный комитет по делам высшей школы.

³ Имеются в виду пьесы норвежского драматурга Генрика Ибсена (1828—1906).

25. <14 мая 1945 г. Москва>

Дорогой Лапутянин! И я поздравляю тебя. Все-таки это, в конце концов, кончилось. Мы (да и, пожалуй, вся Москва) знали о конце дня за три. Все ждали сообщения и по ночам включали радио. Наконец, ночью с 8-го на 9-е нас с матерью разбудила соседка, которая безумным голосом заорала: «Софья Григорьевна, включайте радио!» И мы услышали текст капитуляции. Было интересно смотреть, как, окно за окном, осветился весь город.

Днем были идиллические сцены. Впрочем, я их не видела. Я была утром на базаре, где на один день, видно из патриотических чувств, торговли в два раза повысили цены. Вечером Марк Давыдович, мой приятель Андрей Семенов, Слоны,¹ невыносимые от азарта, и я ходили на Театральную площадь. Впрочем, «ходили» сюда мало подходит. Толпа была сплошная, и тебя несло независимо от твоего желания. Над городом из лучей прожектора выстроили дворец фей. Лиловые и зеленоватые лучи образовали дрожащий прозрачный свод, который

плыл над головой и бледнел от фейерверка. Высоко в небе метались красные флаги, прикрепленные к аэростатам. Только флаги освещались прожектором, и такой, вздувающийся от ветра, излучающий алый свет в черном небе флаг казался каким-то причудливым видением, слишком материальным для призрака. Самолеты летали по кругу над городом. От них в темноте были видны только два красных, бесшумно скользящих глаза, и разбрасывали ракеты, мелкие, разноцветные, которые падали, словно мелкие полевые цветы, сталкиваясь с большими фонтанами крупных цветных звезд, летящих с земли. Было очень холодно, а барышни, ради праздника, оделись в платья и пальто — такие лиловые, от холода и прожекторов, девицы.

Толпа шла возбужденная. Показались группы подростков в нарядных костюмах, испитых мальчишек, пьяных, разнузданных. Теперь их стало что-то очень много, таких гадких парней, которые ходят нарочито расхлябанной походкой и после каждого слова употребляют нежное наименование одной женской профессии на вторую букву алфавита. У американского посольства стояла сплошная масса, которая свистела в пальцы и свистки. Это результат нескольких газетных фельетонов, где сообщалось, что американский свист — знак одобрения. Представляешь, что делали мальчишки, которые обычно свистят незаконно, а здесь свист оказался патриотическим актом. Американцы тоже свистели, махали электрическими фонариками и платками. Брат Митя² видел утром, как пьяный толстый американец норовил прыгнуть в окно со второго этажа, прямо в толпу. Англичане, говорят, у своего посольства угощали толпу коньяком. Вчера я ездила в командировку в Серпухов, куда, на мою голову, москвичи едут за картошкой. Целый день слушала в поезде разговоры о войне и о мире. «Политический» стал народ! Две бабы с молочными бидонами вперемешку рассуждают и о способах гаданья, и толкуют свои сны, и рядом о Японии, и о том, что будет в Германии. О немцах продолжают говорить «он» с великим любопытством. «Глас народа» упорно утверждает, что Адольф цел, и обсуждает способы его поимки.

Так выглядело это всё у нас. Что касается меня, то мне грустно и оттого, что мне некого ждать с фронта, и по многим другим причинам. <...> Дел у меня ужасно много: заочники, лекции, 17-го доклад о моих зверях на научной конференции,³ лихорадочная работа над диссертацией. Теперь я знаю, что напишу ее, но в минуты, когда я не нахожусь в ослеплении азарта, мне кажется, что это удивительно бесполезная работа. Ужасно хочу в тихое место, в лес, в чистый дом. Хочу человеческой, пускай маленькой, но прочной жизни. Не могу больше так устывать, не могу больше думать о том, как выйти на улицу, когда нет ни пальто, ни тубель, не могу больше видеть усталые, постаревшие лица на улицах, облупленные дома... Лёса, тишины, равновесия! Помнишь, как описан дом в лесу в сказке Тика о белокуроем Экберте?⁴ У меня просто тоска о тишине, чистоте и здоровье. <...> Юра, Юра, что-то будет

дальше? Всё, и личное, и общее, совсем не представляется мне в виде гладкой дорожки к счастью, да и вообще:

...счастья не было и нет,
И в этом больше нет сомнения...

А дальше так чудесно, так мужественно и гордо:

Но через край перелилась
Восторга творческого чаша,
И всё уж не мое, а наше,
И с миром укрепилась связь.⁵

Пошли мне, Господи, эту «чашу»! Прощай, дорогой мой, родной. Желаю тебе весны, жизни и веры. Без веры сердце как волдырь от ожога. Больно, от каждого прикосновения.

Каждая баба — Душечка,⁶ а я больше всех. Ляля.

¹ Подразумевается Юра Уваров.

² *Брат Митя* — Д. Н. Курсанов.

³ См. письмо 12, примеч. 5.

⁴ Новелла немецкого писателя Л. Тика «Белокурый Экберт» (1796).

⁵ См. письмо 7, примеч. 9.

⁶ Имеется в виду рассказ А. П. Чехова «Душечка» (1899).

26. <30 июля 1945 г. Москва>

Дорогой Лапутянин! <...> Здесь был сбор почти всех, оставшихся в живых: Сус, Анка и Гришка,¹ Изя, Лифшицы. Все съехались чуть ли не в один день. Ненадолго воскресло что-то из довоенного времени, но воскресло в слезах и тоске. На этой «переключке дружбы» самым живым, самым любящим другом оказалась Анка. Я никогда, ни раньше, ни в годы войны, не подозревала, до чего она мне близка и дорога. Она сохранила такую любовь к тебе, Яше, такую верность дружбе и прошлому, что мне казалось — вы оба с нами. Но она еще и много накопила за войну, она, чуть ли не единственная, не растратила, а приобрела, хотя опыт ее был горек и, может быть, трудней, чем у Сус. Когда Гришку взяли в армию, она осталась в Сибири с двумя детьми (один грудной младенец) и с малоприспособленной «масей».² И как это маленькое существо — бас, глазищи и хрупкие косточки — вытащило на себе всю эту семью, как она не утратила жизнерадостности, интереса к людям, мужества, души? А она ничего не утратила и может, захлебываясь от смеха, рассказывать, как она должна была в военном училище командовать сворой голодных, одичавших парней, настоящей «бурсой», которые ни с чем не считаются, кроме кулака и матерной брани.

И эту зиму она прожила в Киеве в адских условиях: в холоде и голоде. Если бы не Давид, не заботливая еврейская Гришкина семья,³ в ко-

торуую она, на ее счастье, попала, а главное, не ее энергия и мужество, то и дети ее померли бы, и она тоже. Но вывезла наша Анка. Вот она какая! Умница милая. И опять в Киеве за ней ходят студенты и любят ее, и у нее хватает сил на них всех. Мы ужасно с ней спелись насчет педагогики. Очень много у нас общих наблюдений и одна и та же педагогическая страсть к раскопкам в человеках человеческого. Она меня пленила еще и тем, что ей очень понравился мой мальчишка, Юра маленький, и он себя чувствовал с ней хорошо, не то что с Сус. Сус он боится. Гришка всё такой же головастый, порядочный, устойчивый, чуть-чуть «кирпидч» (читай: кирпич), но крепкий, из которого складывают дома. Мы съездили все (Тамарченки и я) к Сус и пили там водку, вспоминали, и Анка заплакала. Я уже выплакалась и не могу. Анка приезжала подбирать материал к диссертации: она пишет о Куприне (!).⁴ Ей необходимо звание и паек. Потому и выбрала то, что полегче. <...>

Сус прилетела из Берлина на пять дней, но застряла и уедет только завтра. Ее иконостас увеличился еще на три медали, а душевная пустота умножилась. Какая-то она мертвенная и отчужденная: думает без азарта, работать ей не хочется и ничего не хочется, только ребенка. Она говорит иногда: «Больше ничего, ничего в моей жизни не будет, и умру я одна». А когда я ей сказала, что свое одиночество человек на 80% создает сам, она рассердилась на меня. Ей не друзья нужны и не ученики, а близкая кровь — гарантия поддержки, дающаяся помимо личных трудов и заслуг. Рассказывает она меньше интересного, чем могла бы, если бы интересовалась, но иногда, редко, ее наблюдения очень занимательны и напоминают Салтыкова-Щедрина, особенно во всем том, что касается «помпадуруш».⁵

На эту область и Изя обращает особое внимание и рассказывает какие-то уж до того поганые анекдоты, что слушать зазорно. Изя очень милый и родственный. Стремится домой, но пока его не пускают. Может быть, к зиме и он и Сус, как кандидаты, вернутся. Изя ожидает увеличения семейства, которое произойдет не сегодня-завтра. Свободно можешь уже писать Рите поздравительное письмо.⁶ Оно поспеет вовремя. Рита розовенькая и веселая, с круглым животиком, и очень напоминает мне маленькую княгиню,⁷ несмотря на свой еврейский тип.

<...> Сейчас у меня заочная сессия, и по 8 ч. читаю лекции. Заочники что-то очень ко мне расположены. Один курс поднес мне большой букет роз, пишут они обо мне деканату всякие хвалебные бумаги и меня славят. С моей стороны это безрадостная любовь — подмена настоящей. Ведь они пожилые дамы и господа. В них не ощущается будущее. Немного грустно смотреть, как они трепыхают подрезанными крылышками и пытаются воспарить в область литературного теоретизирования, куда я их тащу по инстинкту старой (уже) педагогической клячи, не совсем понимая, зачем это нужно мне и им. <...> Педагогические мои успехи только мешают диссертации. Написано еще две главы из 4-х, а скоро уже подавать. Вся надежда на сентябрь, и да пошлет мне

Олимп какую-нибудь задрипанную музу, ибо без вмешательства сверхъестественных сил здесь не обойтись. Не вдохновительно. По вечерам от усталости голова не варит, и я читаю современные французские романы (сейчас Дюамеля «*La nuit de la Saint-Jean*»),⁸ очень изысканные, печальные, какие-то старческие и очень «философические». Со всем не похоже на наше представление о современной французской литературе.

Иногда брожу по Москве, но сейчас, когда Юра уехал домой на каникулы, спутник у меня ужасный: Ми-р-р-р-а Харлап⁹ (какая тупая фамилия — ЛАП). Он очень эрудирован, пишет весьма интересную и эрудированную работу о ритме в поэзии и в музыке, но за всем этим нет человека. Так, какое-то зеркальное отражение. Он не то в меня влюблен, не то прилипает от скуки, как сонная муха осенью, только это казнь моя и проклятие. Но даже рядом с его блестящим носом и красными ушами вечерний город чудесен и опять напоен духом авантюры — чего-то необычного, неожиданного, что может вот сейчас с тобой случиться, чего-то, что прячется за каждым, не видимым в темноте, прохожим: приключение, встреча, 10 тысяч, найденных под лавкой на бульваре. Не знаю. Мне уже много лет. Оно делается всё невероятней, это событие, а я всё жду его, как и раньше, и хожу по городу, и с замиранием вхожу на каждую новую улицу, и вот-вот схвачу за хвост чудесную синюю птицу. Этакая старая Эмма Бовари, несмотря на всё.

Но и без всяких авантур около Александровского сада¹⁰ пахнет вечером землей, зеленью и водой от реки. Ветки при свете фонарей принимают какой-то курортно-праздничный вид, неестественно зеленый и кружевной, а по улице Горького гуляет нарядная толпа: женщины в пестрых платьях не отечественного происхождения.¹¹ Даже кафе работают: там есть вино и чудесный пломбир, только стоит всё очень дорого. Когда посмотришь на платья и кафе, то из всех авантур хочется одной: 10 тысяч под скамейкой. И хочется на юг, и чтобы не думать о том, на какие гроши купить картошку завтра. Всё довольно путанно и интересно, и временами жизнь во мне требует, чтобы ей простились все грехи, хотя бы за «клеякие листочки».¹² <...>

¹ Ильинская называет своих однокурсников — С. А. Розанову (Альтерман) и Тамарченко, Анну Владимировну и Григория Евсеевича, в послевоенные годы преподавателей русской литературы Черновицкого пединститута. Вскоре в Черновцах с ними расправились как с «космополитами» (хотя Анка, как ее звали друзья, была русской), затем работали в Свердловске, Тарту, Новгороде, Ленинграде; с 1978 г. в эмиграции. Далее Ильинская упоминает И. Е. Верцмана, М. А. Лифшица и его жену Л. Я. Рейнгардт.

² Речь идет о 2-й Ленинградской военно-морской спецшколе, эвакуированной весной 1942 г. в г. Тара Омской области; Г. Е. Тамарченко служил в ней учителем и начальником интерната; в 1944 г. он был призван отсюда в армию. А. В. Тамарченко пришлось его замещать в качестве командира взвода. В это время у них было

две дочери, 1937-го и 1943 года рождения. *Мася* — *Тамара Адольфовна Эмме*, тетя А. В. Тamarченко, воспитавшая ее; в Тару она приехала изможденная блокадой. О жизни в Таре см.: *Тамарченко Г. Е.* Судьба одного семейства. С. 106—115.

³ Семье Г. Е. Тamarченко помогали братья Тamarченко *Давид* (1907—1959) и *Мирон*, преподававшие в киевских институтах. О тяжелой жизни в Киеве зимой 1944—1945 гг. (младшую дочь Тamarченко ни разу не выносили на улицу, поскольку ее не во что было одеть) см.: Там же. С. 121—122.

⁴ Диссертацию «Проблема реализма в творческом развитии А. И. Куприна» Тamarченко защитила в 1946 г.

⁵ В 1945—1949 гг. С. А. Розанова (Альтерман) служила в Германии в Советской военной администрации референтом отдела культуры, отсюда ее наблюдения над «помпадуршами», т. е. женами высшего офицерства. Выражение Ильинской напоминает о книге М. Е. Салтыкова-Щедрина «Помпадур и помпадурши» (1863—1874).

⁶ Р. Н. Лурье стала второй женой И. Я. Верцмана, вскоре у них родился сын Саша (покончил с собой в середине 1960-х гг.); от первой жены (ее звали Нина Николаевна) у Верцмана была дочь.

⁷ Ильинская имеет в виду маленькую княгиню Болконскую из «Войны и мира» Л. Н. Толстого.

⁸ Роман французского писателя *Жоржа Дюамеля* (1884—1966) «Ночь Святого Иоанна» (1935).

⁹ *Харлап Мирон Григорьевич* (1913—1994) — пианист, музыковед, теоретик стиха, в 1945 г. старший научный сотрудник научно-исследовательского кабинета Московской консерватории.

¹⁰ *Александровский сад* — вдоль западной стены московского Кремля.

¹¹ Ильинская намекает на трофеи, которые везли с собой возвращавшиеся с войны солдаты и офицеры.

¹² О любви к весенним «клеяким листочкам» говорят Иван и Алеша в «Братьях Карамазовых» (1879—1880) Ф. М. Достоевского (ч. 2, кн. V, гл. III).

27. <25 августа 1945 г. Москва.

Письмо М. А. Лифшицу, пересланное Г. М. Фридлендеру>

Уважаемый Михаил Александрович!

Вот Вам отчет о моей деятельности во благо Юре.¹ Получив письмо от Анжель Морисовны и от Вас, я ринулась в Елене Феликсовне и уткнулась в запертую дверь. Швейцар сказал мне, что ее нет в Москве и с дачи она приезжает очень редко. Тогда, захватив для храбрости Сусанну со всеми регалиями, я, без всякого предупреждения, вторглась к Илье Григорьевичу. Он был весьма любезен, но сказал, что *сейчас* вступать в переписку с этим учреждением не может, да и считает, что его письмо и даже письмо, подписанное еще двумя-тремя «важными человеками», пользы нам не принесет. Надо, сказал он, искать знакомых в этом отделе и действовать через них.

Отвергнутые Эренбургом и облаянные его двумя псами, мы уныло поплелись в приемную НКВД, чтобы попытаться выяснить положение дела. В этот день ничего узнать не удалось, но мне указали, куда и когда следует обращаться. И вот вчера я встретила с представителем От-

дела спецпоселений, который оказался очень осведомленным в Юрином деле. Он знал не только №№ писем, посланных наркомом Коми насчет Юриной демобилизации, но и для Юрино брата.²

Всё это произвело бы на меня мистическое впечатление (на то и было рассчитано), если бы я не догадалась, что в его руки попало письмо Анжель Морисовны, которое я опустила в спецащик дня два назад. У всякого своя манера сообщать новости. О том, что распоряжение о Юриной демобилизации послано уже 25 июля, я узнала только после длительного разговора, проверки моих документов, подозрительных вопросов, в общем, после того как я усумнилась в успехе дела.

Таким образом, распоряжение послано. Мне кажется, что вчера или третьего дня они послали еще напоминание, но, может быть, это мои домыслы. Мне обещали дать № указания, но не дали, т. к. человек, который ведал отправкой подобных распоряжений, уехал, и без него № найти не могут. Предложили зайти еще дней через 5, что я и сделаю.

Мне кажется, что дело закончено, и следует высылать пропуск.³ <...> Надеюсь, что скоро мы увидим Принца Лапуньянского. Всего хорошего. Ляля.

¹ Письмо, отправленное в Ленинград, извещало М. А. Лифшица и А. М. Фридлиндера о том, что Г. М. Фридлиндеру выслано разрешение на выезд из Коми АССР. Его освобождение из трудовой армии (в 1944–1945 гг. он был на спецпоселении) называлось демобилизацией. В письме упоминаются Е. Ф. Усиевич, И. Г. Эренбург, С. А. Альтерман (Розанова).

² Видимо, А. М. Фридлиндер обращалась в НКВД с запросом о старшем сыне Андрее, не зная, что он был расстрелян в 1938 г. Демобилизация Г. М. Фридлиндера сопровождалась переменой паспортных данных: ему было разрешено исправить национальность «немец» на «еврей» (см.: «Трудармеец Фридлиндер, Г. М.». С. 455–456). А. М. Фридлиндер посчитала, что это дает ей право на запрос о пересмотре дела старшего сына, который был арестован как «немецкий шпион».

³ Речь идет об оформлении пропуска на проезд в Ленинград.

Библиографический список

1. «Трудармеец Фридлиндер, Г. М.» (Письма из Коми АССР, 1942–1945) / Вступ. ст. С. В. Березкиной; подгот. текста и коммент. С. В. Березкиной и А. С. Лагурева // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2018–2019 годы. СПб., 2019.
2. Арсланов В. Г. Проблема «термидора» 30-х годов и рождение «теории тождеств» // Михаил Александрович Лифшиц: [Сб. ст.]. М., 2010. С. 338–366.
3. Вернадский В. И. Дневники, 1935–1941: В 2 кн. М., 2006. Кн. 1.
4. Голицын К. Н. Записки. М., 1997.
5. Голицын С. М. Записки уцелевшего: Роман в жанре семейной хроники. М., 2016.
6. Дьяконов И. М. Книга воспоминаний. СПб., 1995.
7. Дьяконова Н. Я. Мои воспоминания // Достоевский: Материалы и исследования. СПб., 2007. Т. 18.

8. *Коржавин Н.* В соблазнах кровавой эпохи: Воспоминания: В 2 кн. М., 2007. Кн. 2.
9. *Лифшиц М. А.* Очерки русской культуры: Из неизданного. М., 1995.
10. *Лифшиц М. А.* Почему я не модернист? Философия. Эстетика. Художественная критика. М., 2009.
11. *Лотман Л. М. Г. М.* Фридлендер в моей памяти сквозь долгие годы общения и сотрудничества // *Достоевский: Материалы и исследования.* СПб., 2007. Т. 18.
12. *Майданский А. Д.* Консервативная революция: Лифшиц на уроках Гегеля // *Свободная мысль.* 2015. № 3.
13. *Раевский С. П.* Пять веков Раевских. М., 2005.
14. *Тамарченко Г. Е.* Судьба одного семейства: (На крутых поворотах советской истории): Воспоминания. Киев, 2001.
15. *Трушкин В. П.* Друзья мои...: Дневники. Очерки. Статьи. Автографы и воспоминания друзей. Иркутск, 2001.
16. *Черных Л. В.* Азадовский и студенты в Иркутске // *Воспоминания о М. К. Азадовском.* Иркутск, 1996.